

# Письма русского путешественника

(отрывок)

*Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и... не переменял почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи – соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в испанском парике, сидящего на больших, ученых креслах – А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию».*

1793

Тверь, 18 мая 1789

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? – Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но – когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел – на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто

заставало меня восходящее солнце, на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, – одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! – Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Птрв. провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: прости! Колокольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему среди вас, милые? – Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, *выплакать сердце свое*. Там-то все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. – Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. – Простите! Дай бог вам утешений. – Помните друга, но без всякого горестного чувства!

---

*С.-Петербург, 26 мая 1789*

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д\*, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек[9 - Его уже нет в здешнем свете.] открыл мне свое сердце: оно чувствительно – он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, – сказал он со вздохом, – главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, – сказал я ему, – чтобы ты

видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаясь другого и жалею». – Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить вексели. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха – я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную – и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

---

*Рига, 31 мая 1789*

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в «Hotel de Petersbourg». Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на перекладных и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. «Спрячь ее в карман!» – сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, – которое настраивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадет – и в самый тот миг, как сердце

мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам – вот наш дом – батюшка и матушка приказали вас просить к себе». – «Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр». – «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйте!» Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей – разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взяли за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постоит!» – сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». – «Бог с вами! – примолвил хозяин, пожав мою руку, – бог с вами!» Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. – Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера! [11 - Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо – он был доволен – я еще больше!] Простился со всею любезною семьей, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие – низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З., едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настраивал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой розницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их

сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен; но, видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом* во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом – праздновали троицу.

Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра. Проповеди говорятся на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. – Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлевом. – Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница – о, Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. *Что город, то норы; что деревня, то обычай.* – Здесь-то живет брат несчастного Л\*. [15 - Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.] Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! – сказал он мне, – самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л\* и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не

увидит *утренней зари великого духа*? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю и солнце никогда не воссияло. *Глубокая* чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиrom, погубила его. Другие обстоятельства, и Л\* бессмертен!» —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, — много лавок, много народа — река покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна. Везде слышишь немецкий язык — где-где русский, — и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. — Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

#### *Курляндская корчма, 1 июня 1789*

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет; то есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, произвела в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня привлекателен! «Вот первый иностранный город», — думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или

вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. Тотчас окружили нас жида с разными безделками. Один предлагал трубку, другой – старый лютеранский молитвенник и Готшедову «Грамматику», третий – зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цену. Француженка, едущая с парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, и мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу – видели, как молодой офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником!

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом и после обеда имели время выпить кофе, чаю и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом италиец, но в самых молодых годах оставил свое отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. – За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались немецкие извозчики из Либав и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висящие на них погремушки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкой зеленою травою и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не

обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. – Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? «Нет», – отвечали они. «А когда так, государи мои, – сказал я, – то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе». Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, – говорил он, – тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!» – «Хорош гусь!» – думал я – и пожелал им доброго вечера.

*Поланга, 3/14 июня 1789*

Наконец, проехав Курляндию более двухсот верст, въехали мы в польские границы и остановились ночевать в богатой корчме. В день переезжаем обыкновенно десять миль, или верст семьдесят. В корчмах находили мы по сие время, что пить и есть: суп, жареное с салатом, яйца; и за это платили не более как копеек по двадцати с человека. Есть везде кофе и чай; правда, что все не очень хорошо. – Дорога довольно пуста. Кроме извозчиков, которые нам раза три попадались, и старомодных берлинов, в которых дворяне курляндские ездят друг к другу в гости, не встречались никакие проезжие. Впрочем, дорога не скучна: везде видишь плодоносную землю, луга, рощи; там и сям маленькие деревеньки или врозь рассеянные крестьянские домики.

С французским италиянцем мы ладим. К французенке у меня не лежит сердце, для того что ее физиономия и ухватки мне не нравятся. Впрочем, можно ее похвалить за опрятность. Лишь только остановимся, извозчик наш Гаврила, которого она зовет Габриелем, должен нести за нею в горницу уборный ларчик ее, и по крайней мере час она помадится, пудрится, притирается, так что всегда надобно ее дожидаться к обеду. Долго советовались мы, сажать ли с собою за стол немцев. Мне поручено было узнать их состояние. Открылось, что они купцы. Все сомнения исчезли, и с того времени они с нами обедают; а как италиянец с французенкой не понимают по-немецки, а они – по-французски, то я должен служить им переводчиком. Немец, который в Роттердаме стал человеком, уверял меня, что он прежде совершенно знал французский язык и забыл его весьма

недавно; а чтобы еще более уверить в этом меня и товарища своего, то при всяком поклоне француженке говорит он: «Оплише, матам! Oblige, Madame!»[23 - Ваш покорный слуга! (фр.) – Ред.]

На польской границе осмотр был не строгий. Я дал приставам копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового.

Море от корчмы не далее двухсот сажен. Я около часа сидел на берегу и смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и унылый! Напрасно глаза мои искали корабля или лодки! Рыбак не смел показаться на море; порывистый ветер опрокинул бы челн его. – Завтра будем обедать в Мемеле, откуда отправлю к вам это письмо, друзья мои!

*Мемель, 15 июня 1789*

Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят; однако ж этого не случилось. Мы приехали в Мемель в одиннадцатом часу, остановились в трактире – и дали несколько грошей осмотрщикам, чтобы они не перерывали наших вещей.

Город невелик; есть каменные строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка; однако ж наши русские умели взять ее в 57 году.

Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Курляндский гаф, на котором он лежит, очень глубок. Пристань наполнена разными судами, которые грузят по большей части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию.

Из Мемеля в Кенигсберг три пути; по берегу гафа считается до Кенигсберга 18 миль, а через Тильзит – 30: большая розница! Но извозчики всегда почти избирают сей последний путь, жалея своих лошадей, которых весьма утомляют ужасные пески набережной дороги. Все они берут здесь билеты, платя за каждую лошадь и за каждую милю до Кенигсберга. Наш Габриель заплатил три талера, сказав, что он поедет берегом. Мы же в самом деле едем через Тильзит; но русский человек смекнул, что за 30 миль взяли бы с него более, нежели за 18! Третий путь водою через гаф самый кратчайший в хорошую погоду, так что в семь часов можно быть в Кенигсберге. Немцы наши, которые наняли извозчика только до Мемеля, едут водою, что им обоим будет стоить только два червонца. Габриель уговаривал и нас с италиянцем – с которым обыкновенно говорит он или знаками, или через меня – ехать с ними же, что было бы для него весьма выгодно, но мы предпочли покойное и верное беспокойному и неверному, а в случае бури и опасному.

За обедом ели мы живую, вкусную рыбу, которою Мемель изобилует; а как нам сказали, что прусские корчмы очень бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином.

Теперь, милые друзья, время отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают.

Что принадлежит до моего сердца... благодаря судьбе! оно стало повеселее. То думаю о вас, моих милых, – но не с такою уже горестию, как прежде, – то даю волю глазам своим бродить по лугам и полям, ничего не думая; то воображаю себе будущее, и почти всегда в приятных видах. – Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего *рыцарем веселого образа!* —

*Корчма в миле за Тильзитом,  
17 июня 1789, 11 часов ночи*

Все вокруг меня спит. Я и сам было лег на постелю; но, около часа напрасно ожидав сна, решился встать, засветить свечу и написать несколько строк к вам, друзья мои!

Я рад, что из Мемеля не согласился ехать водою. Места, через которые мы проезжали, очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдали составляли также приятный вид. «*Qu'il est beau, se pays-ci*», [26 - Какая красивая местность! (фр.) – Ред.] – твердили мы с италиянцем.

Вообще, кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии, и в хорошие годы во всей здешней стороне хлеб бывает очень дешев; но в прошедший год урожай был так худ, что правительству надлежало довольствоваться народом хлебом из заведенных магазинов. Пять, шесть лет хлеб родится хорошо; в седьмой год – худо, и поселянину есть нечего – оттого, что он всегда излишне надеется на будущее лето, не представляя себе ни засухи, ни града, и продает все сверх необходимого. – Тильзит есть весьма изрядно выстроенный городок и лежит среди самых плодоноснейших долин на реке Мемеле. Он производит знатный торг хлебом и лесом, отправляя все водою в Кенигсберг.

Нас остановили у городских ворот, где стояли на карауле не солдаты, а граждане, для того что полки, составляющие здешний гарнизон, не возвратились еще со смотру. Толстый часовой, у которого под брюхом моталась маленькая шпажонка, подняв на плечо изломанное и веревками связанное ружье, с гордым видом сделал три шага вперед и пристрашным голосом закричал мне: «*Wer sind Sie? Кто вы?*» Будучи занят рассматриванием его необыкновенной физиогномии и фигуры, не мог я тотчас отвечать ему. Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: «*Wer seid ihr?*» [27 - Кто вы такие? (нем.) – Ред.] – гораздо уже неучтивее! Несколько раз надлежало мне сказывать свою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному русскому имени. С италиянцем история была еще длиннее. Напрасно отзывался он незнанием немецкого языка: толстобрюхий часовой непременно хотел, чтоб он отвечал на все его вопросы, вероятно с великим трудом наизусть

вытверженные. Наконец я был призван в помощь, и насилу добились мы до того, чтобы нас пропустили. – В городе показывали мне башню, в разных местах простреленную русскими ядрами.

В прусских корчмах не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Француженка делает нам *des oeufs au lait*, или русскую яичницу, которая с молочным супом и салатом составляет наш обед и ужин. Зато мы с италиянцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.

Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через полминуты вошел человек в темном фраке, в пребольшей шляпе и с длинным хлыстом; подошел к столу, взглянул на нас, – на француженку, занятую вечерним туалетом; на италиянца, рассматривавшего мою дорожную ландкарту, и на меня, пившего чай, – скинул шляпу, пожелал нам доброго вечера и, оборотясь к хозяйке, которая лишь только показала лоб из другой горницы, сказал: «Здравствуй, Лиза! Как поживаешь?»

Л и з а (сухая женщина лет в тридцать). А, господин поручик! Добро пожаловать! Откуда? Откуда?

П о р у ч и к. Из города, Лиза. Барон фон М\* писал ко мне, что у них комедианты. «Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!» Черт меня возьми! Если бы я знал, что за твари эти комедианты, ни из чего бы не поехал.

Л и з а. И, ваше благородие! Разве вы не жалуете комедии?

П о р у ч и к. О! Я люблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за доктора Фауста с Гансом Вурстом. [7 - Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть великий колдун и по сие время бывает обыкновенно героем глупых пьес, играемых в деревнях или в городах на площадных театрах странствующими актерами. В самом же деле Иоанн Фауст жил как честный гражданин во Франкфурте-на-Майне около середины пятого-надесять века; и когда Гутенберг, майнцский уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения. По смерти Гутенберговой Фауст взял себе в помощники своего писаря, Петра Шопффера, который искусство книгопечатания довел до такого совершенства, что первые вышедшие книги привели людей в изумление; и как простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках. – А Ганс Вурст значит на площадных немецких театрах то же, что у италиянцев Арлекин.]

Л и з а. Ганс Вурст очень смешон, сказывают. – А что играли комедианты, господин поручик?

П о р у ч и к. Комедию, в которой не было ничего смешного. Иной кричал, другой кривлялся, третий тарашил глаза, а путного ничего не вышло.

Л и з а. Много было в комедии, господин поручик?

П о р у ч и к. Разве мало дураков в Тильзите?

Л и з а. Господин бургомистр с сожительницею изволил ли быть там?

П о р у ч и к. Разве он из последних? Толстобрюхий дурак зевал, а чванная супруга его беспрестанно терла глаза платком, как будто бы попал в них табак, и толкала его под бок, чтобы он не заснул и перестал пялить рот.

Л и з а. То-то насмешник!

П о р у ч и к (садясь и кладя свою шляпу на стол подле моего чайника). Um Vergebung, mein Herr! Простите, государь мой! – Я устал, Лиза. Дай мне кружку пива. Слышишь ли?

Л и з а. Тотчас, господин поручик.

П о р у ч и к (вошедшему слуге своему). Каспар! Набей мне трубку. (Оборотясь к француженке.) Осмелюсь спросить с моим почтением, жалуете ли вы табак?

Ф р а н ц у ж е н к а. Monsieur! – Qu'est ce qu'il demande, Mr. Nicolas?[29 - О чем он спрашивает, мосье Никола? (фр.) – Ред.](Так она меня называет.)

Я. S'il peut fumer.[30 - Можно ли ему курить. (фр.) – Ред.] – Курите, курите, господин поручик. Я вам за нее отвечаю.

Ф р а н ц у ж е н к а. Dites qu'oui.[31- Скажите, что можно (фр.). – Ред.]

П о р у ч и к. А! Мадам не говорит по-немецки. Жалею, весьма жалею, мадам. – Откуда едете, если смею спросить, государь мой?

Я. Из Петербурга, господин поручик.

П о р у ч и к. Радуюсь, радуюсь, государь мой. Что слышно о шведах, о турках?

Я. Старая песня, господин поручик; и те и другие бегают от русских.

П о р у ч и к. Черт меня возьми! Русские стоят крепко. – Скажу вам по приятности, государь мой, что если бы король мой не отговорил мне, то давно бы я был не последним штаб-офицером в русской службе. У меня везде не без друзей. Например, племянник мой служит старшим адъютантом у князя Потемкина. Он ко мне обо всем пишет. Постойте – я покажу вам письмо его. Черт меня возьми! Я забыл его дома. Он описывает мне взятие Очакова. Пятнадцать тысяч легло на месте, государь мой, пятнадцать тысяч!

Я. Неправда, господин поручик.

П о р у ч и к. Неправда? (С насмешкою.) Вы, конечно, сами там были?

Я. Хоть и не был, однако ж знаю, что турков убито около 8000, а русских 1500.

П о р у ч и к. О! Я не люблю спорить, государь мой; а что знаю, то знаю. (*Принимаясь за кружку, которую между тем принесла ему хозяйка.*) Разумеете ли, государь мой?

Я. Как вам угодно, господин поручик.

П о р у ч и к. Ваше здоровье, государь мой! – Ваше здоровье, мадам! – (*Италиянцу.*) Ваше здоровье! – Пиво изрядно, Лиза. – Послушайте, государь мой! – Теперь вы называете меня господином поручиком: для чего?

Я. Для того, что хозяйка вас так называет.

П о р у ч и к. Скажите: оттого, что я (надев шляпу) поклонился моему королю – и безвременно пошел в отставку. А то теперь говорили бы вы мне (приподняв шляпу): «Господин майор, здравствуйте!» (*Допивая кружку.*) Разумеете ли? Черт меня возьми, если я не по уши влюбился в свою Анюту! Правда, что она была как розовая пышка. И теперь еще не худа, государь мой, даром что уже четверых принесла мне. – Лиза! скажи, какова моя Анюта?

Л и з а. И, господин поручик! Как будто вы сами этого не знаете! Чего говорить, что пригожа! – Скажу вам смех, господин поручик. Как вы на святой неделе вечером проехали в город, ночевал у меня молодой господин из Кенигсберга – правду сказать, барин добрый и заплатил мне честно за всякую безделку. Кушать он много не спрашивал.

П о р у ч и к. Ну где же смех, Лиза?

Л и з а. Так этот добрый господин стоял на крыльце и увидел госпожу поручицу, которая сидела в коляске на правой стороне, – так ли, господин поручик.

П о р у ч и к. Ну что же он сказал?

Л и з а. «То-то баба!» – сказал он. Ха! ха! ха!

П о р у ч и к. Видно, он неглуп был. Ха! ха! ха!

Я. Итак, любовь заставила вас идти в отставку, господин поручик?

П о р у ч и к. Проклятая любовь, государь мой. – Каспар, трубку! – Правда, я надеялся на хорошее приданое. Мне сказали, что у старика фон Т\* золотые горы. «Девка добра, – думал я, – дай, женимся!» Старик рад был выдать за меня дочь свою: только она никак не хотела идти за служивого. «Мамзель Анюта! – сказал я. – Люблю тебя как душу; только люблю и службу королевскую». На миленьких ее глазенках навернулись слезы. Я топнул ногою и – пошел в отставку. Что же вышло! На другой день после свадьбы любезный мой тестюшка вместо золотых гор наградил меня тремя сотнями талеров. Вот тебе приданое! – Делать было нечего, государь мой. Я поговорил с ним крупно, а после за бутылкою старого рейнского вина заключил вечный мир. Правду сказать, старик был добросердечен – помяни бог его душу! Мы жили дружно. Он умер на руках моих и оставил нам в наследство дворянский дом.

Но перервем разговор, который занял уже с лишком две страницы и начинает утомлять серебряное перо мое.[33 - Все свои замечания писал я в дороге серебряным пером.] Словоохотный поручик до десяти часов наговорил с три короба, которых я, жалея Габриелевых лошадей, не возьму с собою. Между прочим, услышав, что я из Кенигсберга поеду в публичной коляске, советовал мне: 1) занять место в середине и 2) если будут со мной дамы, потчевать их всю дорогу чаем и кофе. В заключение желал, чтобы я путешествовал с пользою, так, как известный барон Тренк, с которым он будто бы очень дружен. – Господин поручик, всунув свою трубку в сапог, сел на коня и пустился во всю прыть, закричав мне: «Счастливого пути, государь мой!»

Чего не напишешь в минуты бессонницы! – Простите до Кенигсберга!

*Кенигсберг, июня 19, 1789*

Вчера в семь часов утра приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал вместе с своим спутником в трактире у Шенка.

Кенигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе славных ганзейских городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однако ж так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4000, а жителей 40 000 – как мало по величине города! Но теперь он кажется многолюдным потому что множество людей собралось сюда на ярманку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел довольно хороших домов, но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы.

Здесь гарнизон так многочислен, что везде попадаются в глаза мундиры. Не скажу, чтобы прусские солдаты были одеты лучше наших; а особливо не нравятся мне их двуугольные шляпы. Что принадлежит до офицеров, то они очень опрятны, а жалованья получают, выключая капитанов, малым чем более наших. Я слышал, будто в прусской службе нет таких молодых офицеров, как у нас; однако ж видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилетних. Мундиры синие, голубые и зеленые с красными, белыми и оранжевыми отворотами.

Вчера обедал я за общим столом, где было старых майоров, толстых капитанов, осанистых поручиков, безбородых подпоручиков и прапорщиков человек с тридцать. Содержанием громких разговоров был прошедший смотр. Офицерские шутки также со всех сторон сыпались. Например: «Что за причина, господин ритмейстер, что у вас ныне и днем окна закрыты? Конечно, вы не письмом занимаетесь? Ха! ха! ха!» – «То-то, фон Кребс! Все знает, что у меня делается!» – и проч. и проч. Однако ж они учтивы. Лишь только наша француженка показала, все встали и за обедом служили ей с великим усердием. – Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за благо обедать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой немецкий суп ароматические испарения сочной зелени.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малебранша и Лейбница, и Юма и Боннета, – Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, то есть все сокрушающий Кант. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, – и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Он тотчас попросил

меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, *дело постороннее*. Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застаёт нас на пути к чему-нибудь, что мы ещё имеем хотим. Дай человеку все, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех наслаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе: назовем его совестью, чувством добра и зла – но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ее? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: авось там будет лучше! – Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, все для чего-нибудь, и все благо творящего. Что? Как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное». – Почтенный муж! Прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои!

Он знает Лафатера и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, – говорит он, – но, имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит магнетизму и проч.» – Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, – сказал он, – и увидите, что они все добрые люди».

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: «*Kritik der praktischen Vernunft*» и «*Metaphysik der Sitten*», [36 - «Критика практического разума» и «Метафизика нравов» (нем.) – Ред.] – и сию записку буду хранить как священный памятник.

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. – Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме... его метафизики.

Здесьняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. «Где вы, – думал я, – где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего – подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, – чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов». – Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. – На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! – Там же видно множество разноцветных знамен, трофеев маркграфовых.

Француз, наемный лакей, провожавший меня, уверял, что оттуда есть подземный ход за город, в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал мне маленькую дверь с лестницею, которая ведет под землю. Правда ли это или нет, не знаю: но знаю то, что в средние века на всякий случай прокапывали такие ходы, чтобы сохранять богатство и жизнь от руки сильного.

Вчера ввечеру простился я с своим товарищем, господином Ф\*, которого приязни не забуду никогда. Не знаю, как ему, а мне грустно было с ним расставаться. Он с француженкой поехал в Берлин, где, может быть, еще увижу его.

Ныне был я у нашего консула, господина И\*, который принял меня ласково. Он рассказывал мне много кое-чего, что я с удовольствием слушал; и хотя уже давно живет в немецком городе и весьма хорошо говорит по-немецки, однако же нимало не обгерманился и сохранил в целости русский характер. Он дал мне письмо к почтмейстеру, в котором просил его отвести мне лучшее место в почтовой коляске.

Вчера судьба познакомила меня с одним молодым французом, который называет себя искусным зубным лекарем. Узнав, что в трактир к Шенку приехали иностранцы, ему сказали – французы, – явился он к господину Ф\* с ношею комплиментов. Я тут был – и так мы познакомились. «В Париже есть мне равные в искусстве, – сказал он, – для того не хотел я

там остаться, поехал в Берлин, перелечил, перечистил немецкие зубы; но я имел дело с великими скрягами, и для того – уехал из Берлина. Теперь еду в Варшаву. Польские господа, слышно, умеют ценить достоинства и таланты: попробуем, полечим, почистим! А там отправлюсь в Москву – в ваше отечество, государь мой, где, конечно, найду умных людей более нежели где-нибудь». – Ныне, когда я только что управился с своим обедом, пришел он ко мне с бумагами и, сказав, что узнает людей с первого взгляду и что имеет уже ко мне полную доверенность, начал читать мне... трактат о зубной болезни.

Между тем как он читал, наемный лакей пришел сказать мне, что в другом трактире, обо двор, остановился русский курьер, капитан гвардии. «Allons le voir!»[38 - Пойдемте к нему! (фр.) – Ред.] – сказал француз, спрятав в кармане свой трактат. Мы пошли вместе – и вместо капитана нашел я вахмистра конной гвардии, господина \*\*\*, молодого любезного человека, который едет в Копенгаген. Он еще в первый раз послан курьером и не знает по-немецки, чему прусские офицеры, окружившие нас на крыльце, весьма дивились. В самом деле, неудобно ездить по чужим землям, зная только один французский язык, которым не все говорят. – В то время как мы разговаривали, один из стоявших на крыльце получил письмо из Берлина, в котором пишут к нему, что близ сей столицы разбили почту, зарезали постиллиона и отняли несколько тысяч талеров: неприятная весть для тех, которые туда едут! – Я пожелал земляку своему счастливого пути.

В старинном замке, или во дворце, построенном на возвышении, осматривают путешественники цейхгауз и библиотеку, в которой вы найдете несколько фолиантов и кварталов, окованных серебром. Там же есть так называемая Московская зала, длиною во 166 шагов, а шириною в 30, которой свод сведен без столбов и где показывают старинный осьмиугольный стол, ценою в 40 000 талеров. Для чего сия зала называется Московскою, не мог узнать. Один сказал, будто для того, что тут некогда сидели русские пленники; но это не очень вероятно.

Здесь есть изрядные сады, где можно с удовольствием прогуливаться. В больших городах весьма нужны народные гульбища. Ремесленник, художник, ученый отдыхает на чистом воздухе по окончании своей работы, не имея нужды идти за город. К тому же испарения садов освежают и чистят воздух, который в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами.

Ярманка начинается. Все наряжаются в лучшее свое платье, и толпа за толпою встречается на улицах. Гостей принимают на крыльце, где подают чай и кофе.

Я уже отправил свой чемодан на почту. Едущие в публичной коляске могут иметь шестьдесят фунтов без платы; у меня менее шестидесяти.

Adieu! [39 - Прощайте! (фр.) – Ред.] Земляк мой Габриель, который, говоря его словами, не нашел еще работы, пришел сказать мне, что почтовая коляска скоро будет готова.

Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде; но разлука не так уже для меня горестна. Начинаю наслаждаться путешествием. Иногда, думая о вас, вздохну; но легкий ветерок струит воду, не возмущая светлости ее. Таково сердце человеческое; в сию минуту благодарю судьбу за то, что оно таково. – Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь! В Берлине надеюсь получить от вас письмо.

*Мариенбург, 21 июня ночью*

Прусская так называемая почтовая коляска совсем не похожа на коляску. Она есть не что иное, как длинная покрытая фура с двумя лавками, без ремней и без рессор. Я выбрал себе место на передней лавке. У меня было двое товарищей, капитан и подпоручик, которые сели назади на чемоданах. Я думал, что мое место выгоднее; но последствие доказало, что выбор их был лучше моего. Слуга капитанский и так называемый ширмейстер, или проводник, сели к нам же в коляску на другой лавке. Печальные мысли, которыми голова моя наполнилась при готическом виде нашего экипажа, скоро рассеялись. В городе видел я везде приятную картину праздника – везде веселящихся людей; офицеры мои были весьма учтивы, и разговор, начавшийся между нами, довольно занимал меня. Мы говорили о турецкой и шведской войне, и капитан от доброго сердца хвалил храбрость наших солдат, которые, по его мнению, едва ли хуже прусских. Он рассказывал анекдоты последней войны, которые все относились к чести прусских воинов. Ему крайне хотелось, чтобы королю мир наскучил. «Пора снова драться, – говорил он, – солдаты наши пролежали бока; нам нужна экзерциция, экзерциция!» Миротлюбивое мое сердце оскорбилось. Я вооружился против войны всем своим красноречием, описывая ужасы ее: стон, вопль несчастных жертв, кровавою рекою на тот свет уносимых; опустошение земель, тоску отцов и матерей, жен и детей, друзей и сродников; сиротство муз, которые скрываются во мрак, подобно как в бурное время бедные малиновки и синички по кустам прячутся, и проч. Немилостивый мой капитан смеялся и кричал: «Нам нужна экзерциция, экзерциция!» Наконец я заметил, что взялся за работу Данаид; замолчал и обратил все свое внимание на приятные окрестности дороги. Постиллион наш не жалел лошадей; и таким образом неприметно доехали мы до перемены, где только что имели время отужинать на скорую руку.

Ночь была приятна. Я несколько раз засыпал, но ненадолго, и почувствовал выгоду, которую имели мои товарищи. Они могли лежать на чемоданах, а мне надлежало дремать сидя. На рассвете приехали мы на другую станцию. Чтобы сколько-нибудь ободриться после беспокойной

ночи, выпили мы с капитаном чашек по пяти кофе – что в самом деле меня оживило.

Места пошли совсем не приятные, а дорога худая. Гейлигенбейль, маленький городок в семи милях от Кенигсберга, приводит на мысль времена язычества. Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков, – дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под мрачною его тенью обожали они идола Курхо, приносили ему жертвы и славили его в диких своих гимнах. Вечное мерцание сего естественного храма и шум листьев наполняли сердце ужасом, в который жрецы язычества облекали богопочитание. Так друиды в густоте лесов скрывали свою религию; так глас греческих оракулов исходил из глубины мрака! – Немецкие рыцари в третьем-надесять веке, покорив мечом Пруссию, разрушили олтари язычества и на их развалинах воздвигнули храм христианства. Гордый дуб, почтенный старец в царстве растений, претыкание бурь и вихрей, пал под сокрушительною рукою победителей, уничтожавших все памятники идолопоклонства: жертва невинная! – Суеверное предание говорит, что долгое время не могли срубить дуба; что все топоры отскакивали от толстой коры его, как от жесткого алмаза; но что наконец сыскался один топор, который разрушил очарование, отделив дерево от корня; и что в память победительной секиры назвали сие место Heiligenbeil, то есть секира святых. Ныне эта секира святых славится каким-то отменным пивом и белым хлебом.

Браунсберг, где мы обедали и в третий раз переменяли лошадей, есть довольно многолюдный городок.

«Здесь жил и умер Коперник», – сказал мне капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко. – «Итак, это Фрауенберг?» – «Точно».

Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный математик и астроном и где он, по своим наблюдениям и вычетам, определил движение Земли вокруг ее оси и Солнца – Земли, которая, по мнению его предшественников, стояла неподвижно в центре планет и которую после Тихо де Браге хотел было опять остановить, но тщетно! – И таким образом Пифагоровы идеи, над которыми смеялись греки, верившие своим чувствам более, нежели философу, воскресли в системе Николая Коперника! – Сей астроном был счастливее Галилея: суеверие – хотя он жил еще под его скипетром – не заставило его клятвенно отрицаться от учения истины. Коперник умер спокойно в своем мирном жилище, но Тихо де Браге должен был оставить свой философский замок и отечество. Науки, подобно религии, имели своих страдальцев. —

Перед вечером приехали мы в Эльбинг, небольшой, но торговый город, и весьма изрядно выстроенный, где стоят два или три полка. Почте надлежало тут пробывать более часа. Мы пошли в трактир, где, кроме хозяина и гостей, все было довольно чисто. Выехав из Кенигсберга, еще не видал я порядочно одетого человека. Двое играли в бильярд: один – в зеленом кафтане, диком камзоле и в сальном парике, человек лет за сорок, а другой –

молодой человек в пестром кургузом фраке; первый играл очень худо и сердился; а другой хотел над ним шутить, смеялся во все горло при каждом его промахе, поглядывал на нас и в зеркало и оправлял беспрестанно свой толстый запачканный галстук. Карикатура за карикатурою приходила в трактир, и всякая карикатура требовала пива и трубки. Мне было очень скучно. К тому же я чувствовал сильное волнение в крови от кофе и от тряского движения почтовой коляски.

Вышедши садиться, нашли мы у коляски молодого офицера и старую женщину, которые рекомендовались в нашу благосклонность и объявили, что едут с нами. Таким образом, стало нам гораздо теснее. Офицеры мои рады были новому товарищу, с которым могли они говорить о прошедшем смотре. Женщина, родом из Шведской Померании, услышав, что я русский, подняла руки к небу и закричала: «Ах, злодеи! Вы губите нашего бедного короля!» Офицеры смеялись, и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца.

Между тем прекрасный вечер настроил душу мою к приятным впечатлениям. На обеих сторонах дороги расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленные стада блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца. Крестьянки доили коров, вдыхая в себя целебный пар молока, которое составляет богатство всех тамошних деревень. Жители принадлежат, если не ошибаюсь, к секте перекрестителей, *Wiedertaufer*. Хвалят их нравы, миролюбие и честность. Рука их не подымается на ближнего. «Кровь человеческая, – говорят они, – вопиет на небо». – Тишина наступившей ночи сомкнула глаза мои.

Теперь мы в Мариенбурге, где я имел время написать к вам столько страниц. Сей город достоин примечания только тем, что древний его замок был некогда столицею великих мастеров Немецкого ордена. – От старой женщины, моей неприятельницы, мы здесь освободились; но место ее займет высокий офицер, который теперь сидит подле меня, дожидаясь отправления почты. – Рассветало. Простите! Из Данцига надеюсь еще что-нибудь приписать.

*Данциг, 22 июня 1789*

Проехав через предместье Данцига, остановились мы в прусском местечке Штоценберге, лежащем на высокой горе сего имени. Данциг у нас под ногами, как на блюдечке, так что можно считать кровли. Сей прекрасно выстроенный город, море, гавань, корабли в пристани и другие, рассеянные по волнующемуся, необозримому пространству вод, – все сие вместе образует такую картину, любезнейшие друзья мои, какой я еще не видывал в жизни своей и на которую смотрел два часа в безмолвии, в глубокой тишине, в сладостном забвении самого себя.

Но блеск сего города померк с некоторого времени. Торговля, любящая свободу, более и более сжимается и упадает от теснящей руки сильного. Подобно как монахи строжайшего ордена, встретясь друг с другом

в унылой мрачности своих жилищ, вместо всякого приветствия умирающим голосом произносят: «Помни смерть!», так жители сего города в глубоком унынии зывают друг ко другу: «Данциг! Данциг! Где твоя слава?» – Король прусский наложил чрезмерную пошлину на все товары, отправляемые отсюда в море, от которого Данциг лежит верстах в пяти или шести.

Шотландцы, которые присылают сюда сельди свои, пользовались в Данциге всеми правами гражданства, для того что некогда шотландец Доглас оказал городу важную услугу. Те из жителей, с которыми я говорил, не могли мне сказать, в чем именно состояла услуга Догласова. Такой знак благодарности делает честь сему городу.

Я не знал, что почта пробудет здесь так долго, а то бы успел осмотреть в Данциге некоторые примечания достойные вещи. Теперь уже поздно: хотят впрягать лошадей. Более всего хотелось бы мне видеть славную Эйхелеву картину в главной лютеранской церкви, представляющую Страшный суд. Король французский – не знаю который – давал за нее сто тысяч гульденов. – Хотелось бы мне видеть и профессора Тренделенбурга, чтобы поблагодарить его за греческую грамматику, им сочиненную, которою я пользовался и впредь надеюсь пользоваться. – Огромнейшее здание в городе есть ратуша. Вообще все дома в пять этажей. Отменная чистота стекол украшает вид их.

Данциг имеет собственные деньги, которые, однако ж, вне города не ходят; и в самом городе прусские предпочитают.

На западе от Данцига возвышаются три песчаные горы, которых верхи гораздо выше городских башен; одна из сих гор есть Штоценберг. В случае осады неприятельские батареи могут оттуда разрушить город. На горе Гагелсберге был некогда разбойничий замок; эхо ужаса его далеко отзывалось в окрестностях. Там показывают могилу русских, убитых в 1734 году, когда граф Миних штурмовал город. Осажденные знали, с которой стороны будет приступ, почему гарнизон и жители обратили туда все силы свои и дрались как отчаянные. Известно, что город держал сторону Станислава Лещинского против Августа III, за которого вступилась Россия. Наконец Данциг покорился.

Товарищи мои офицеры хотели осмотреть городские укрепления, но часовые не пустили их и грозили выстрелом. Они посмеялись над излишнею строгостью и возвратились назад. Солдаты по большей части старые и одеты неопрятно. Магистрат поручает комендантское место обыкновенно какому-нибудь иностранному генералу с большим жалованьем.

### *Первая станция от Данцига*

В Данциге присоединились к нам офицер, молодой французский купец и магистер. Для них и для капитанского слуги ширмейстер взял там открытую фуру. Офицер сел к нам в коляску, где оставалось еще одно место,

которое хотел занять магистер; но француз поднял крик, доказывая свое старшинство, и ширмейстер решил дело в его пользу, узнав, что он в самом деле записался на почте ранее. Магистер крайне упрашивал нас, чтобы мы как-нибудь потеснились и дали ему место в коляске, представляя ученым образом, что ему с ширмейстером и слугою будет скучно; но он проповедовал глухим ушам, как говорят немцы. Француз, по-дорожному очень хорошо одетый, в торжестве сел на лавке между двух офицеров, с насмешкою жалея, что бедного магистера вымочит дождь, который накрапывал. Новый наш товарищ, офицер, желая сидеть просторнее, взглядывал на него очень косо и начал его жать. Француз весьма учтиво объявил, что ему становится тесновато. «Тем хуже для вас», – отвечал ему офицер с сердцем; закурил трубку и начал пускать ему в нос и в рот дымные облака. Француз чихал, кашлял и наконец спросил, что бы это значило? – «То, чтобы вы убрались в фуру к магистру». – «Государь мой!» – сказал француз с гордым видом. – «Государь мой!» – отвечал офицер с досадою. – Вам говорят, чтобы вы убрались от нас». – Француз с важностью уверял, что имеет равное с ним право сидеть в коляске; но офицер, худой юрист, начал сыпать на него пепел с огнем, говоря, что Везувий за дымом выбрасывает пламя. Еще мало: он уткнул ему в бок эфес своей сабли. Бедный француз, видя, что терпением не отделаться, сквозь слезы просил офицера оставить его в покое до первой перемены, обещаясь пересесть там в фуру. Старые мои товарищи, насмеявшись досыта, сжалились над мучеником и уговорили своего собрата, чтобы он удовольствовался его обещанием. И я смеялся, однако ж искренно жалел о французе, хотя он тотчас забыл все и стал весел.

Теперь переменяют лошадей и готовят нам легкий ужин.

Выехав из Данцига, смотрел я на море, которое синелось на правой стороне. Более не попадалось в глаза ничего занимательного, кроме пространного данцигского гульбища, где было очень мало людей, для того что небо покрывалось со всех сторон тучами. В середине идет большая дорога, а по сторонам в аллеях прогуливаются.

Офицеры сговорились было атаковать магистера; но он довольно искусно отразил первые приступы, так что они наконец оставили его. Он едет в Италию рассматривать древности. Многие восточные языки, по его словам, ему известны. Он показывал мне письмо графа \*\*\*, который прислал ему экземпляр Аль-Корана, напечатанного в Петербурге. Мы друг с другом гораздо согласнее, нежели с офицерами.[45 - После читал я о магистре Ринге в прибавлении к «Йенским литературным ведомостям». Он известен в Германии по своей учености.]

*Штолпе, 24 июня*

Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости прусских постиллионов. Нынешний король издал указ, по которому все почтмейстеры обязаны иметь более уважения к проезжим и не держать

никого долее часа на переменах, а постиллионам запрещаются все самовольные остановки на дороге. Нахальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они останавливались пить пиво, и несчастные путешественники должны были терпеть или выманывать их деньгами. Указ имел хорошие следствия, однако ж не во всей точности исполняется. Например, не доезжая за милю до Штолпе, мы принуждены были с час дожидаться постиллионов, которые спокойно пили и ели в корчме, несмотря на позывы с нашей стороны. Приехав в город, все мои товарищи грудью приступили к почтмейстеру и требовали, чтобы он наказал их. – «Выговором?» – спросил почтмейстер. – «Палкою», – отвечали офицеры. – «Я не имею права бить их». – «Вздор! вздор!» – сказал капитан. – Или я сам со всеми управлюсь!» – Тут он страшным образом стукнул в пол своею тростью. «Насилие! насилие!» – закричал почтмейстер. – Хотят драться, бить меня!» – Капитан вдруг переменял тон и сказал тихо: «Я не хочу драться, а в Берлине поговорю о вас с министром». Сказал и вышел вон, а за ним и все. Постиллионы, как будто бы ничего не зная, пришли к нам просить на вино. Их выгнали – дверь затворилась и опять потихоньку стала отворяться – все туда оборотили глаза и увидели почтмейстерову голову. «Что вам угодно?» – спросил капитан суровым голосом. Тут почтмейстер всунул к нам в горницу все свое туловище, начал шаркать и кланяться капитану, и называть его господином капитаном, и уверять его, что он имеет к нему почтение, и знает майора его полка, и знает его фамилию, и знает, что он прав, и отдает ему в полную власть тех постиллионов, которые повезут нас из Штолпе, и проч., и проч. – Капитан смягчился, улыбнулся и отвечал на все: «Хорошо, хорошо, господин почтмейстер!» – Мы с магистером также улыбались, а офицеры говорили тихонько: «Дурак! Трус!» —

Теперь не могу вам сказать ничего примечания достойного, кроме того, что в местечке Лупове, где мы обедали, есть прекрасные форели и прекрасный бишоф. Итак, если вы, друзья мои, будете когда в Лупове, то вспомните, что друг ваш там обедал, – вспомните и велите подать себе форелей и бишофу.

Здесь остается тот офицер, который мучил француза; итак, сей последний сядет с нами. – Adieu!

*Штаргард, 26 июня*

О Штаргарде, куда мы приехали ужинать, могу вам сказать единственно то, что он есть изрядный город и что здешняя церковь Марии считается высочайшею в Германии.

Мы проехали через Кеслин и Керлин, два маленькие городка. В первом бросается в глаза большое четверугольное место со статуею Фридриха Вильгельма. «Ты достоин сей почести!» – думал я, читая надпись. Не знаю, кого справедливее можно назвать великим, отца или сына, хотя последнего все без разбора величают. Здесь должно смотреть только на дела

их, полезные для государства, – не на ученость, не на острые слова, не на авторство. Кто привлек в свое государство множество чужестранцев? Кто обогатил его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населил Пруссию? Кто всегда отходил от войны? Кто отказывался от всех излишностей, для того чтобы его подданные не терпели недостатка в нужном? Фридрих Вильгельм! – Но Кеслин будет для меня памятен не только по его монументу: там милостивая трактирщица угостила нас хорошим обедом! Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! По крайней мере я не забуду тебя, милостивая немка! Вспомнив статую Фридриха Вильгельма, вспомню и любезное твое угощение, приятные взоры, приятные слова твои!..

«Что, будет ли у нас война, господа офицеры?» – спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Керлине. «Не думаю», – отвечал капитан. «Дай бог, чтобы и не было! – сказал трактирщик. – Я боюсь не австрийских гусаров, а русских казаков. О! Что это за люди!» – «А почему ты их знаешь?» – спросил капитан. «Почему? Разве они не были в Керлине? Ничто не уйдет от их пики. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже подирает, когда вообразю их!» – «Да вот русский казак!» – сказал капитан, указав на меня. «Русский казак!» – закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все смеялись, а трактирщик захохотал. «За эту шутку вы заплатите мне дорожке, господа!» – сказал он, взяв кофейник из рук служанки.

Я видел один из древних разбойничьих замков. Он лежит на возвышении и обведен со всех сторон широкими рвами, которые прежде были наполнены водою. Тут в высоком тереме сидели мать и дочь за пяльцами и поглядывали в окно, когда муж и отец, как голодный лев, рыскал по лесам и полям, ища добычи. «Едет! Едет!» – кричали они, и мосты гремели и опускались – гремели и опять подымались – и грабитель был безопасен в объятиях своей жены и дочери. Тут раскладывались похищенные богатства, и женщины от радости ахали. Тут несчастные путешественники, которые в тот день попались в руки злодею, заключались в подземную темницу, в двадцать семь сажен глубиною, где густой воздух спирался и тяготил дыхание и где гром цепей был им первым приветствием. Иногда бедный отец прибегал к сим широким рвам и, смотря на сии острые башни, восклицал: «Отдайте мне сына и возьмите все, что имею! Несчастливая мать день и ночь крушится; печальная невеста всякий час слезами обливается. Отдайте матери сына и невесте жениха!»

«Стой, воображение!» – сказал я сам себе и – заплатил два гроша сухой старухе и уродливому мальчику, которые показывали мне замок. Он издавна стоит пустой и начинает уже разваливаться.

Теперь накрывают нам стол. Ужин будет прощальный. Все мои товарищи, кроме капитана, едут отсюда в Штетин, куда мне не дорога. Вероятно, что нам уже никогда не видать друг друга. Правда, что эта мысль для меня не очень горестна. Я не поблагодарил бы судьбы, если бы она велела мне всегда жить с такими людьми. С ними можно говорить только о смотрах, маршах и тому подобном. Самый язык их странен. Не зная по-

французски, употребляют они в разговоре множество французских слов, произнося их по-своему. Например: «Da ist eine Precipice – ich habe eine Ture gemacht – ich schanschire es», [47 - Тут пропасть – я выкинул штуку – я меняю это (нем., фр.). – Ред.] и проч.

К нам пристал еще молодой человек, почтмейстерской сын, который едет учиться в университет. Слыша, что офицеры в шутку называли меня доктором, вздумал он показать мне свою ученость и спросил, как, по моему мнению, можно перевести на немецкий латинское слово ratio? Потом начал говорить о духе языков и проч. Надобно знать, что магистер уже от нас отстал; а то бы он не дал ему много говорить. Офицеры не полюбили сего ученого почтмейстерского сына и старались его дурачить. Приехав сюда, вынул он из кармана превеликие шпоры и положил на стол. Офицеры, находя странным, что человек, едущий учиться в университет, вместо книг везет в кармане такую вещь, стали смеяться. Француз подскочил с лорнетом и начал рассматривать шпоры с великим вниманием. Смех умножился. «Что вы находите в них?» – спросил капитан. – «Знакомые черты, – сважностью отвечал француз, – кажется, как будто бы я видал их прежде; однако ж нет – я видел только их изображение на эстампах в Дон-Кихоте!» Тут офицеры во все горло захохотали, а студент осердился. Насмеявшись досыта, капитан сказал мне: «Если когда-нибудь издадите вы журнал своего путешествия, то прошу вас не забыть шпор». – «Не забудьте шпор!» – закричали все офицеры. «Ваше желание исполню», – отвечал я. —

Надобно сказать нечто о прусских допросах. Во всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку сказываются смешными и разными именами, то есть при въезде одним, а при выезде другим, из чего выходят чудные донесения начальникам. Иной называется Люцифером, другой Мамоном; третий в город въедет Авраамом, а выедет Исааком. Я не хотел шутить, и для того офицеры просили меня в таких случаях притворяться спящим, чтобы им за меня отвечать. Иногда был я какой-нибудь Баракоменевеверус и ехал от горы Араратской; иногда Аристид, выгнанный из Афин; иногда Альцибиад, едущий в Персию; иногда доктор Панглос, и проч., и проч.

Кушанье поставили. Простите!

*Берлин, 30 июня 1789*

Вчера приехал я в Берлин, друзья мои; а ныне, к великому своему удовольствию, получил от вас письмо, которого ждал с таким нетерпением. Известие, что вы остались здоровы, меня утешило, успокоило. Но на что вы иногда грустите? Этого не было в уговоре. А если вы и впредь будете так немилостивы к себе и к другу своему, который за несколько тысяч верст берет участие даже в минутной вашей неприятности, то он, в отмщение вам, сам будет грустить с утра до вечера.

Последнее письмо отправил я к вам из Штаргарда. Мы выехали оттуда в полночь. Кроме капитана, было у меня двое новых товарищей: офицер, едущий в Империю для набора рекрут, и купец штаргардский. Я сел в коляске назади, на своем чемодане; мог протянуть ноги, мог прилечь на подушку; спина моя распрямилась, и движение крови стало ровнее; тряская коляска казалась мне усыпительной колыбелью – и я, почитая себя блаженнейшим человеком в свете, заснул крепким сном и спал до первой перемены, где разбудили меня пить кофе.

Не доезжая за десять миль до Берлина, капитан нас оставил. Мы прощались друг с другом как приятели, и я дал ему слово сыскать его в Кенигсберге, когда поеду обратно через сей город. «Ведь нам еще надобно хоть один раз в жизни видеться, – сказал он, пожимая руку мою, – заезжайте ко мне и расскажите, что увидите в свете». – «Хорошо, хорошо, господин капитан! Будьте между тем здоровы!» – И так мы расстались.

В последнюю ночь нашего путешествия, приближаясь к Берлину, начинал я думать, что там делать буду и кого увижу. Ночью всякие мечты воображения бывают живее, и я так ясно представил себе любезного А\*, [10 - Алексея Михайловича Кутузова, добродушного и любезного человека, который через несколько лет после того умер в Берлине, быв жертвою несчастных обстоятельств. идущего ко мне навстречу с трубкой и кричащего: «Кого вижу? Брат Рамзей в Берлине?», что руки мои протянулись обнять его; но вместо моего дражайшего приятеля, который в сию минуту был от меня так далеко, чуть не обнял я мокрой женщины, сидевшей с нами в коляске. «Но как зашла к вам мокрая женщина?» Вот как. Солнце село, пошел дождь, и вечер превратился в глубокую ночь. Вдруг коляска наша остановилась; ширмейстер, сидевший с нами, выглянул и начал с кем-то бормотать; потом, оборотившись к нам, сказал: «Господа! Позвольте ли сесть в коляску одной честной женщине и доехать с нами до первого местечка, куда она идет с своим мужем? Дождь промочил ее насквозь, и она боится занемочь». – «А хороша ли она?» – спросил офицер, едущий в Империю. «Теперь темно», – отвечал ширмейстер. – «Пускай ее садится», – сказал офицер. Я то же сказал, и купец то же. Женщина влезла к нам в коляску и была подлинно очень мокра, так что мы пятились от нее как можно далее, боясь воды, которая текла с нее ручьями. Офицер вступил с нею в разговор и узнал от нее, что она жена портного мастера, очень любит своего мужа и с ним никогда не расстаётся; что они ужинали в гостях у своего дяди, зажиточного купца, который торгует заморскими товарами, и пошли домой пешком для того, чтобы наслаждаться приятностями вечера, никак не ожидав дождя; что она взяла у дяди книжку «Жизнь барона Тренка», в которой описываются самые чудные приключения и всё справедливые; что дочь дяди их, которой минуло уже девятнадцать лет, однажды не спала целую ночь, читая эту книгу, а на другую ночь во сне увидела Тренка в цепях и так закричала, что отец пришел к ней со свечою посмотреть, что с нею сделалось, – и проч., и проч. Вот все дело!

«Но если я не найду его в Берлине!» – пришло мне вдруг на мысль – и в самую ту минуту встретилась нам коляска. Насилу мог я удержаться, чтобы не закричать: «Стой!» – «Это, верно, он, – думал я, – это, верно, он! Прости! Приезжай благополучно в наше отечество, к своим друзьям! Ты увидишь моих любезных; увидишь и не скажешь им ничего обо мне!» – Между тем мы приехали на станцию. Я тотчас пошел к почтмейстеру спросить, кто проехал в коляске. «Русский – купец из Риги», – отвечал он. Тут я готов был вспрыгнуть от радости, что это был не наш А\*.

В некотором расстоянии от Берлина начинается прекрасная аллея из каштановых деревьев, и дорога становится лучше и веселее. О виде Берлина нельзя было мне судить потому, что беспрестанный дождь мешал видеть далеко вперед. У ворот мы остановились. Сержант вышел из караульни нас допрашивать: «Кто вы? Откуда едете? Зачем приехали в Берлин? Где будете жить? Долго ли здесь пробудете? Куда поедете из Берлина?» Судите о любопытстве здешнего правительства! – Наконец мы въехали в улицу прекрасного Берлина, где я надеялся отдохнуть в объятиях сердечной приязни, рассказывать русскому о России и другу о друзьях, говорить о наших веселых московских вечерах и философских спорах!.. Но судьба смеялась надо мною!

Коляска наша остановилась у почтового дома. Там прежде всего спросил я у секретаря, где живет А\*? И что же? С хладнокровием, совсем противным моему нетерпению, отвечал он: «Его уже здесь нет!» – «Его здесь нет?» – «Нет, сударь», – повторил он и начал перебирать письма. – «Где же он?» – «Во Франкфурте-на-Майне. Подите к своему священнику; там лучше все узнаете». Я бросился на стул и готов был заплакать. Секретарь взглянул на меня с улыбкою. «Вы думали его здесь найти?» – спросил он. «Думал, государь мой, думал!» – Иссими словами я хотел идти вон. «Постойте, – сказал секретарь, – надобно осмотреть ваш чемодан». То есть надобно было взять с меня несколько грошей. – Вообразите друга вашего, идущего в самых горестных размышлениях по берлинским улицам вслед за инвалидом, который нес чемодан мой! Ни огромные дома, ни многолюдство, ни стук карет не могли вывести меня из меланхолической задумчивости. Я сам себе казался жалким сиротою, бедным, несчастным, и единственно оттого, что А\* не хотел меня дожидаться в Берлине!

«Жаль, жаль, государь мой, – сказал мне г. Блум, трактирщик английского короля в Братской улице, – жаль, что у меня нет теперь для вас места. В доме моем заняты все комнаты. Вы, думаю, знаете, что к нашему королю пожаловала гостья, его сестрица. В Берлине будут праздники, и многие господа приехали сюда на это время. Поверите ли, что я ныне отказал уже десяти человекам?» – «Итак, господин Блум...» – «Вы из России приехали?» – «Из России. Итак...» – «У вас все войною занимаются?» – «Да, господин Блум, у нас война. Итак, мне остается...» – «Послушайте; теперь только опросталась у меня одна комната, и вы можете занять ее. Что же у вас с турками делается?» – «Прикажите мне указать комнату; а после, если угодно...» – «Очень хорошо! Очень хорошо! Пойдемте, пойдемте!» Он

привел меня в маленькую горенку с одним окном. «Не правда ли, что она очень хороша и очень уютна?» – «Я доволен, господин Блум». Тут пришел ко мне фельдшер, парикмахер. Господин Блум от меня не выходил, беспрестанно говорил, и наконец мне же вздумал рассказывать, что у нас в России делается. «Послушайте, господин Блум, – сказал я, – это все писано к вам от первого числа апреля по старому или по новому стилю». – «Как, государь мой?» – «Как вам угодно», – отвечал я, – взял трость и пошел со двора.

Человек рожден к общежитию и дружбе – сию истину живо чувствовало мое сердце, когда я шел к Д\*, желая найти в нем хотя часть любезных свойств нашего А\*, желая полюбить его и говорить с ним со всею дружескою искренностью, свойственною моему сердцу! – Благодарю судьбу! Я нашел, чего желал – нашел в Д\* любезного, добродушного, искреннего человека. Он любит свое отечество, и я люблю его; он любит А\*, и я люблю его; он сроден к откровенности, и я тоже: итак, долго ли было нам познакомиться? Мы проговорили с ним до вечера, и он захотел еще проводить меня.

Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всякою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? – Д\* повел меня через славную Липовую улицу, которая в самом деле прекрасна. В середине посажены аллеи для пешеходов, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, – только в сей улице не чувствовал я никакого неприятного запаха. Дома не так высоки, как некоторые в Петербурге, но очень красивы. В аллеях, которые простираются в длину шагов на тысячу или более, прогуливалось много людей.

Лишь только я в своей комнате расположился пить чай, пожаловал ко мне г. Блум с бумажкою в руках. «Вам надобно на это отвечать», – сказал он. Я увидел на бумаге те вопросы, которые делали мне при въезде в город, с прибавлением одного: «В какие ворота вы въехали?» Они напечатаны, и мне надлежало под каждым писать ответ. «Боже мой! Какая осторожность! Разве Берлин в осаде?» – Господин Блум объявил мне с важным видом, что завтра берлинская публика узнает через газеты о моем приезде!

Ныне поутру ходил я с Д\* осматривать город. Его по справедливости можно назвать прекрасным; улицы и дома очень хороши. К украшению города служат также большие площади: Вильгельмова, Жандармская, Денгофская и проч. На первой стоят четыре большие мраморные статуи славных прусских генералов: Шверина, Кейта, Винтерфельда и Зейдлица. Шверин держит в руке знамя, с которым он в жарком сражении под Прагою бросился на неприятеля, закричав своему полку: «Дети! за мной!» Тут умер он смертью героя, и король сожалел о сем искусном и храбром генерале более, нежели о потере двадцати тысяч воинов. – Фридрих, приняв Кейта в свою службу, сказал: «Я много выиграл». Фридрих знал людей, и Кейт оказал ему важные услуги. – Говорят, что граф Петр Александрович Румянцев похож на Винтерфельда. Я не имел счастья видеть нашего

Задунайского героя и потому не мог искать сего сходства в хладном мраморе, изображающем Винтерфельда. – Зейдлиц был любимец королевский, пылкий, отважный воин. Отдавая справедливость его достоинствам, осуждают в нем некоторые слабости и говорят, что они были причиною безвременной смерти его. Он умер не на поле чести, а на одре мучительной болезни. Король тужил о нем, как о своем любимце. – Таким образом, Фридрих хотел во мраморе предать векам память своих полководцев. Юный воин, смотря на их изображения, чувствует желание подражать героям и жить в памяти потомства. Я сам люблю рассматривать памятники славных людей и представлять себе дела их. – На так называемом Длинном мосту через реку Шпре стоит из меди вылитый монумент Фридриха Вильгельма Великого. Когда русские войска пришли сюда, то некоторые из солдат в забаву рубили его тесаками. Мне показывали сии знаки, которые возбуждают в берлинцах неприятное воспоминание.

Мы прошли в Королевскую библиотеку. Она огромна – и вот все, что могу сказать о ней! Более всего занимало меня богатое анатомическое сочинение с изображениями всех частей человеческого тела. Покойный король заплатил за него семьсот талеров. Есть довольно восточных рукописей, на которые я только взглянул. Показывали мне еще Лютеров немецкий манускрипт, но я почти совсем не мог разобрать его, не читав никогда рукописей того века. – Книги давать на дом запрещено, однако ж известный человек, задоблив деньгами помощника библиотечарского, может иметь некоторые. Таким образом Д\* взял для меня Николаево описание Берлина, которое хотелось мне просмотреть. Библиотекою управляет ныне г. доктор Бистер, который и живет в сем большом доме.

За столом у господина Блума сидело человек тридцать: офицеров, купцов и важных саксонских баронов, приехавших в Берлин на праздники. Теперь все готовится ко встрече штатгальтерши, которая послезавтра будет сюда из Потсдама вместе с королем. Об этом только и говорят; да о разбойниках, которые близ Ораниенбурга разбили почту. – Вечеру Д\* водил меня в зверинец. Он простирается от Берлина до Шарлотенбурга и состоит из разных аллей: одни идут во всю длину его, другие поперек, иные вкось и перепутываются: славное гульбище! Долго искал я того места, о котором некогда наш А\* писал ко мне следующее: «Я нашел в зверинце длинную аллею, состоящую из древних сосн; мрачность и непременяющаяся зелень дерев производят в душе некоторое священное благоговение. Не забуду я одного утра, когда, гуляя в зверинце один и предавшись стремлению своего воображения, которое, как известно тебе, склонно к пасмурным представлениям, вступил я нечаянно в сию аллею. До того места освещало меня лучезарное солнце, но вдруг исчез весь свет. Я поднял глаза и увидел перед собою сей путь мрачности. Только вдали при выходе виден был свет. Я остановился и долго глядел. Наконец одна мысль пробудила меня... „Не есть ли, – думал я, – не есть ли тьма сия изображение твоего состояния, когда ты, разлучившись с телом, вступишь в неизвестный тебе путь?“ Мысль сия так во мне усилилась, что я уже представил себя облегченного от земного

бремени, идущего к оному вдали светящемуся свету, и... с того времени всякий раз, когда бываю в зверинце, захожу туда и часто поминаю тебя». Любезный меланхолик!

Я сам думал о тебе, вступая в сию аллею, и стоял, может быть, точно на том месте, где ты обо мне думал. Может быть, ты опять здесь стоять будешь, но я буду далеко, далеко от тебя! —

В зверинце много кофейных домов. Мы заходили в один из них, чтобы утолить жажду белым пивом, которое мне очень не понравилось. — Сад принца Фердинанда, в который мы прошли из зверинца, отворен для всех порядочно одетых людей. Я не взял бы тысячи таких садов за зверинец. Тут прогуливался сам принц и с угрюмым видом отплатил нам поклон. — Бьет час.

*Июля 1*

Ныне поутру, побывав у господина М\*, к которому было у меня письмо от князя Д\*, я виделся с известным Николаем, автором и книгопродавцем, живущим в той же улице, где я живу, то есть в Bruderstrasse. Он встретил меня с такою ловкостью, с такою учтивостью, какой бы нельзя было ожидать от немецкого ученого и книгопродавца. «Вас знают и в России, — сказал я ему, — знают, что немецкая литература обязана вам частью своих успехов. Приехав в Берлин, спешил я видеть друга Лессингова и Мендельсона». — «Благодарю вас», — отвечал он с улыбкою и посадил меня на софе. С путешественником всего ближе говорить о путешествиях: итак, услышав, что я еду в Швейцарию, начал он говорить со мною о тех удовольствиях, которые можно иметь в этой примечания достойной земле, где он сам был за несколько лет перед сим. Но скоро обратил я разговор на берлинский иезуитизм. Надобно знать, что с некоторого времени начали писать в Германии — или, лучше сказать, в Берлине, и Николаи первый подал к тому мысль, — будто есть тайные иезуиты, которые всеми силами стараются снова овладеть Европою; будто Калиостро и подобные суть их миссионеры, которые, обольщая легковерных людей пышными обещаниями, порабощают их власти тайных иезуитских начальников и проч., и проч. С сего времени стали везде искать скрытых иезуитов: между учеными и неучеными, между пасторами и солдатами. В сочинениях некоторых писателей нашли что-то иезуитское. Началась ужасная война, и «Берлинский журнал», издаваемый Бистером и Гедике, избран был в театр сей войны. С иезуитизмом слили в одно католицизм; доказывали, что тот и тот из известных протестантских ученых тайно приняли католическую религию; что они опасные люди, и проч. Те, которых наименовали, рассердились и начали браниться или отбраниваться, доказывая, что берлинцы бредят. Все это еще и ныне продолжается. Вот что сказал мне Николаи:

«Известно, что иезуиты имели везде связи; что у них были свои банки, свои банкиры. Общество их хотя и называло папу своим покровителем, но цель его была тайная и сокрывалась во внутренности ордена. Папа, лишив орден своего покровительства, мог ли уничтожить существо его? Мог ли заставить внутренних начальников, или хранителей тайны, отказаться от их цели? Неужели закрылись все тайные каналы, через которые они действовали? Неужели исчезли все банки их? – Я предложил свои чаяния и хотел только возбудить внимание к сему предмету. Гипотеза моя, казалось, могла изъяснить некоторые явления наших времен. – Что принадлежит до католицизма, то всякий протестант имеет причину не желать его распространения. Мы, слава богу, можем обо всем рассуждать, можем пользоваться своим разумом; но дух католицизма не терпит никакой свободы в умствованиях и налагает цепи на разум. Если вы читаете книги, выходящие в Германии, то, конечно, заметили великую розницу между теми, которые печатаются в протестантских и католических землях: где более просвещения?» – «Все это очень хорошо, – сказал я, – но зачем с такою жестокостию писать против некоторых почтеннейших мужей Германии, для того единственно, что они сомневаются в существовании тайных иезуитов и в том, чтобы католики могли ныне быть опасны протестантам? Признаться вам, я не мог без досады читать колкого ответа доктора Бистера господину Гарве, одному из первых ваших философов, который с такой скромностию предложил свои сомнения». – «Однако ж Гарве, – отвечал Николай, – переменил свои мысли; мы с ним нарочно для этого виделись. Не надобно думать, чтобы католики совсем перестали ныне стараться обращать протестантов в свое исповедание. Известно учение их церкви, что вне ее нет спасения; и так они, по некоторому человеколюбию, хотя распространить ее область. Одним словом, осторожность была нужна. – Впрочем, всякий отвечает за себя. Если некоторые зашли слишком далеко, я не виноват. Только во многом нас хотят криво толковать, к чему Штарк[56 - Придворный дармштатский проповедник, которого берлинцы объявили тайным католиком, иезуитом, мечтателем; который судился с издателем «Берлинского журнала» гражданским судом и писал целые книги против своих обвинителей.] и подобные имеют свои причины. Правда, что дело, делаемое с добрым намерением, может иметь некоторые худые следствия; но если оно имеет несравненно более добрых, то нельзя не назвать его хорошим делом». – Завтра едет Николай к водам. «Путешествие есть для меня лекарство», – сказал он. Я записал ему на карточке свое имя и пожелал счастливого пути. Потом он так же учтиво проводил меня, как встретил. – Жаль, что он едет. Я хотел бы еще поговорить с ним о некоторых вещах в досужные для него часы. Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором господа берлинцы пишут. Где искать терпимости, если самые философы, самые просветители – а они так себя называют – оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей. Должно показывать заблуждения разума

человеческого с благородным жаром, но без злобы. Скажи человеку, что он ошибается и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцем. Люди, люди! Под каким предлогом вы себя не мучите! – Лафатер есть один из тех, которых берлинцы бранят при всяком случае; и если он у них не совершенный иезуит, то по крайней мере великий мечтатель. Я к Лафатеру не пристрастен и обо многом думаю совсем не так, как он думает; однако ж уверен, что его «Физиогномические фрагменты» будут читаемы и тогда, когда забудут, что жил на свете почтенный доктор Бистер. Но оставим их. Что принадлежит до Николаевой наружности, то в ней хотя и нет ничего особенного, привлекательного, однако ж есть что-то почтенное. Он высок, худощав, смугл. Лафатер в «Физиогномике» своей говорит, что высокий лоб его показывает весьма рассудительного человека.

У г. Блума живет один молодой шведский купец. Ныне, когда мы сидели за столом, пришел к нему секретарь их посольства и вызвал его. Минут через пять возвратился наш швед с веселою улыбкою и объявил всему столу, что шведы в одном деле одержали верх над русскими. Секретарь датского посольства, который тут же обедал, начал смеяться над его патриотическою ревностью. Прусские офицеры хотели знать подробности дела, но швед сам не знал их. «Да еще верить ли вашей победе? – сказал датчанин. – Мы будем ждать подтверждения». – «Какого подтверждения! – закричал швед. – Я вам ручаюсь». Датчанин смеялся, а швед горячился. Между тем г. Блум, подошедши ко мне, крайне упрашивал меня не входить в разговор. «Зачем вам тут мешаться? Вы видите, что швед очень горяч. Сохрани боже, если бы что-нибудь вышло у вас с ним в моем доме!» Я уверял его, что ссоры у нас не будет; но после стола не мог утерпеть, чтобы не подойти к шведу и не вступить с ним в разговор. Господин Блум тотчас подлетел к нам и посматривал то на меня, то на него, будучи готов затушить огонь при первом его воспылении. Однако ж мы довольно спокойно разговаривали. Швед был в России и по мундиру моему тотчас узнал, что я русский. «При начале войны меня выслали из Петербурга, – сказал он, – хотя мне очень хотелось пожить там». – «Жалуйтесь на своего короля, – отвечал я, – который объявил нам войну без всякой справедливой причины». Тут Блум дернул меня за полу, боясь, чтобы швед не рассердился; но он с улыбкою сказал: «Короли поступают не по тем правилам, которые для нас, частных людей, должны быть законом». – «Это говорит Фридрих», – сказал сквозь зубы прусский майор, сидевший за столом. Тут пришел ко мне Д\*, и г. Блум был очень рад, что я убрался в свою комнату. Он боялся поединка.

После обеда был я в гарнизонной церкви и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда, любезный Клейст, бессмертный певец Весны, герой и патриот. Знаете ли вы конец его? В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он батальоном и взял три батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца, он взял шпагу в левую. Пулею прострелили ему левое плечо; он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу.

Он упал и закричал своим солдатам: «Друзья! Не покиньте короля!» Наехали казаки, раздели Клейста и бросили в болото. Кто не подивится тому, что он в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и хватками одного казака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близ огня на солому и закрыли плащом. Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров, но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил деньги на плащ и ускакал с своими товарищами. Поутру увидел Клейст нашего офицера, барона Бульдберга, и сказал ему свое имя. Барон тотчас отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно разговаривал с философом Баумгартеном, некоторыми учеными и нашими офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст с твердостью стоического философа. Все наши офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: «У такого храброго офицера должна быть шпага и в могиле». – Клейст есть один из любезных моих поэтов. Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее.

*Июля 2*

Ныне приехал сюда король с своею гостью штатгальтершею. Не можете вообразить, что за пышная была ей встреча! Все граждане стояли в ружье, и никакая сорочья стая не может так пестриться, как пестрился этот фронт. Офицеры отличались от рядовых только тем, что у них косы привиты были гораздо круче. В ожидании штатгальтерши тянули они всем фронтом водку, и так неосторожно, что некоторые стукались лбами. Капитаны ходили и увещевали своих сограждан отмахнуть на караул мастерски. «И конечно, конечно! – кричали они. – Мы не ударим себя лицом в грязь». Нельзя было не смеяться этому фарсу. – Купцы, все в красных кафтанах, под начальством одного банкира, выезжали встречать штатгальтершу за город. – И за то, что я посмеялся над берлинскими гражданами и взглянул на штатгальтершу и прусского короля, вымочил меня дождь. Теперь начнутся здесь пиры. – Иду в театр.

В 10 часов ночи. Давно уже не был я так приятно растроган, как ныне в театре. Представляли драму «Ненависть к людям и раскаяние», сочиненную господином Коцебу, ревельским жителем. Автор осмелился вывести на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастлива – и я плакал, как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!.. Коцебу знает сердце. Жаль только, что он в одно время заставляет зрителей и плакать, и смеяться! Жаль, что не имеет вкуса или не хочет его слушаться! Последняя сцена в пиесе несравненна. – Господин Флек играет ролю мужа с таким чувством, что каждое слово его доходит до сердца. По крайней мере я еще не видывал

такого актера. В нем соединены великие природные дарования с великим искусством. Г-жа Унцельман представляет жену очень трогательно. В игре ее обнаруживается какая-то нежная томность, которая делает ее любезною для зрителя. – Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такою живостию представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть. – Вышедши из театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что изящные искусства не имеют влияния на счастье наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей – пока будет оно чувствительно!

*Июля 4*

Вчера в шесть часов утра поехали мы с Д\* верхом в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокий песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается. Но вид Потсдама, а особливо Сан-Суси, очень хорош. Мы остановились в трактире, не доезжая до городских ворот, и, заказав обед, пошли в город. У ворот записали наши имена; однако ж в рассуждении допросов ныне нет уже такой строгости, как прежде. Покойный король, живучи в Потсдаме, хотел знать обо всех приезжих. – На парадном месте против дворца, украшенном колоннадами, училась гвардия: прекрасные люди, прекрасные мундиры! Вид дворца со стороны сада очень хорош. Город вообще прекрасно выстроен; в большой, так называемой Римской, улице много великолепных домов, строенных отчасти по образцу огромнейших римских палат и на собственные деньги покойного короля: он дарил их кому хотел. Теперь сии огромные здания пусты или занимаются солдатами. Жителей очень мало: причиною то, что нынешний король совсем оставил сей город, предпочитая ему Шарлотенбург. Не для того ли противен ему Потсдам, что он, будучи принцем, имел там много неудовольствий и досад? Вообразите, что целый дом в два этажа можно нанять там за пятьдесят рублей в год; да и то нанимать некому. На дверях больших домов висят солдатские сумы, камзолы и проч. Коротко сказать, Потсдам кажется таким городом, из которого жители удалились, слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты. Не можете вообразить, как печален сей вид пустоты!

В Потсдаме есть русская церковь под надзором старого русского солдата, который живет там со времен царствования императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: «Слава богу! Слава богу!» Он хотел сперва говорить с нами по-русски, но мы с трудом могли разуть друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово, а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-русски. «Видно, что у нас на Руси язык очень переменился, – сказал он, – или я, может быть, забываю его». – «И то и другое правда», – отвечали мы. – «Пойдемте в церковь божию, – сказал он, – и помолимся вместе, хотя ныне и нет праздника». Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько времени царствует глубокое молчание, едва прерываемое слабыми вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по воскресеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик перебирает их с молитвою. «Часто от всего сердца, – сказал он, – сокрушаюсь я о том, что по смерти моей, которая от меня, конечно, уже недалеко, некому будет смотреть за церковью». – Сполчаса пробыли мы в сем священном месте; простились с почтенным стариком и пожелали ему – тихой смерти.

После обеда были мы в Сан-Суси. Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями, что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не король, а философ Фридрих – не стоический и не циник, но философ, любивший удовольствия и находивший их в изящных искусствах и науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал, но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вкусом и богато. В круглой мраморной зале надобно удивляться колоннам, живописи и прекрасно набранному полу. Комната, где король беседовал с мертвыми и живыми философами, убрана вся кедровым деревом. С горы, срытой уступами (которые один другой закрывают, так что, взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору), сошли мы в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами. «Где ты теперь? – думал я. – Сажень земли вместила прах твой. Любезные места твои, для украшения которых призывал ты лучших художников, теперь осиротели и пусты». – Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам японский домик на левой стороне главной аллеи; а далее, перешедши через каменный мост, видишь на обеих сторонах прекрасные храмики. Мы прошли к новому дворцу, построенному покойным королем со всею царскою пышностью. Внутренность еще великолепнее внешности; и, дивясь богатству, дивишься и вкусу, который виден в уборе комнат. Более шести миллионов талеров стоил королю сей дворец. – Правда, я был тут не в таком расположении, в каком надобно рассматривать пышные

произведения искусств. Кровь моя волновалась, голова болела, и я насилу мог ходить. Оставив дворец, поехали мы назад в город, чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где обедали.

День склонялся к вечеру, и надобно было думать о возвращении. Вода с вином освежила меня, и мы поехали назад в Берлин по Шарлотенбургской дороге. Мне хотелось видеть сей городок. Товарищ мой тут не ездил; но все уверяли нас, что нам нельзя сбиться с дороги. Чем далее ехали мы, тем хуже мне становилось. Раз шесть сходил я с лошади и отдыхал на траве. Ночь застала нас в большом лесу. Наконец я так ослабел, что не мог ни ехать, ни идти пешком и, как полумертвый, лежал под деревом с закрытыми глазами. В лесу царствовала глубокая тишина. Товарищ мой стоял подле меня, держа обеих лошадей, и горевал, не зная, как мне помочь. Одним словом, нас можно было в эту минуту изобразить на одном из тех эстампов, которыми украшаются модные романы! Д\* вздумал было искать поблизости какого-нибудь селения, нанять телегу и везти меня в Берлин: но как же было остаться мне одному ночью, в лесу и в такой слабости? Пруссия не Аркадия, и наш век не золотой: меня могли ограбить, а со мною было все мое богатство. Наконец через час я встал и, пожав руку у моего любезного товарища, сказал ему, что мне лучше. С версту прошли мы пешком и сели на лошадей. Смертельная жажда томила меня, и за стакан воды отдал бы я половину своих червонцев. Шарлотенбург был от нас еще не близко. Несколько раз надеялись мы видеть его, подъезжали и видели – лес и мрак. Наконец приехали в город; и с жадностию, какой еще никогда в жизни своей не чувствовал, лил я в себя холодную воду. До Берлина оставалась одна миля. Мне хотелось как-нибудь добраться до места, и мы въехали в аллею зверинца. Луна взошла над нами; ясный свет ее разливался по зелени листьев; тихий и чистый воздух упитан был благовонными испарениями лип. И я мог жаловаться в сии минуты – тогда как мать природа дышала ароматами вокруг меня? Эта ночь оставила во мне какие-то романические, приятные впечатления. – Городские ворота были уже затворены; однако ж нас пропустили.

Ныне поутру встал я совершенно здоров, оделся и поехал к господину М\*. Он повез меня к Формею, секретарю Берлинской академии, который принял нас ласково. Сей старик все еще бодр и весел. Он читал нам письмо, полученное им из П\* от своего родственника, который всякую неделю пишет к нему, и не щадя бумаги. «Не поверите, с каким удовольствием я все это читаю!» – сказал он. Господин Формей был знаком с Вольтером и рассказывал нам некоторые анекдоты касательно до его пребывания в Берлине. – В следующий четверток будет собрание в Берлинской академии, в которое угодно было господину Формею пригласить меня. Мы поехали к зятю его, господину М\*, профессору, содержателю большого пансиона и также члену Академии. Он показывал нам минеральный кабинет и библиотеку сестры покойного короля, состоящую из французских, английских, италийских и немецких книг – философов, историков и поэтов. – После обеда я был у графа Н\*: о нем ни слова! Говорят, что он в

старину имел имя остроумного человека в свете. Австрийский посол, князь Р\*, бывший у него в гостях, казался мне ласковее хозяина.

Я поехал в оперу. Оперный дом велик и очень хорош. Тут видел я всю королевскую фамилию и штатгальтершу с дочерью. Играли оперу «Медео», в которой пела Тоди. Я слышал эту славную певицу еще в Москве, и скажу – может быть, к стыду своему, – что ее пение мало трогает мое сердце. Для меня неприятно видеть напряжение, с которым она поет. Впрочем, будучи только любителем музыки, не могу ценить искусства ее. Что принадлежит до декораций, то они были великолепны. —

*Июля 5*

Ныне был я у старика Рамлера, немецкого Горация. Самый почтенный немец! «Ваши сочинения, – сказал я ему, – почитаются у нас классическими». Ему приятно было слышать, что и в России читают его стихи и знают их цену. Рамлер напитался духом древних, а особливо латинских поэтов. В одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие восторги и заимствует огонь у Горация или других древних поэтов – правда, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил век поэзии. В новых его пьесах надобно удивляться круглости, чистоте и гармонии, то есть искусству его в механизме стихотворства; но в них нет уже пиитического жара, который всегда с годами проходит. Кажется, что он сам это чувствует и потому ныне мало сочиняет. Главное его упражнение с некоторого времени состоит в переводах римских поэтов, в которых почти всегда соблюдает меру оригинала. Сии пьесы, печатаемые в «Берлинском журнале», могут служить примером в искусстве переводить. «Теперь, – сказал он мне, – принялся я за Марциала. Только немногие из его эпиграмм были до сего времени известны на немецком языке. Сам Лессинг перевел некоторые, не упоминая Марциалова имени». – Еще при жизни Геснеровой начал он перекладывать в стихи его идиллии. «Я подражаю Сократу, – писал он к автору, своему другу, – который в старости своей перелагал в стихи Езоповы басни». Искусные критики недовольны трудом его. «Легкость и простота Геснерова языка, – говорят они, – пропадает в экзаметрах». К тому же в идиллиях швейцарского Теокрита есть какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов. Но Рамлер думает и мне сказал, что Геснеровы идиллии были единственно потому несовершенны, что автор писал их не экзаметрами. – Стихи свои, еще в рукописи, читает он одной приятельнице, которая, не будучи ученою, имеет природное нежное чувство изящного. «Иногда, – сказал он мне, – я спорю с нею, когда она находит что-нибудь противное в моих сочинениях. „Говорите что хотите, – отвечает она, – яне могу опровергать вас, но остаюсь при своем чувстве“. Наконец, подумав хорошенько, нахожу, что она права, и винюсь перед нею». – Мне пришла на мысль Аспазия, которой афинские певцы отдавали на суд свои творения;

ушам ее верили они более, нежели своим, – и я думаю, что женщины вообще могут чувствовать некоторые красоты поэзии живее мужчин. – Рамлер восстает против греческих митологических имен, которые граф Штолберг, Фос и другие удерживали в своих переводах. «Мы уже привыкли к латинским, – говорит он, – на что переучивать нас без всякой нужды?» – Он очень любит театр, и все, что я слышал от него об искусстве представления, мне очень понравилось. Славный Экгоф утверждал, что актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; если не ошибаюсь, то и Энгель в своей «Мимике» то же говорит: но Рамлер думает противное, и, кажется, справедливее их. В разговоре о лейпцигских ученых упомянул я о Вейсе. «Вейсе – лучший друг мой», – сказал он и указал мне на стене портрет его. – Наконец я простился с ним, и он на память подарил мне оду, сочиненную им нынешнему королю, или, лучше сказать, кантат, выбранный из псалмов. – Рамлер высок, худощав, долгонос; говорит отборно и протяжно.

Ныне представляли «Дон-Карлоса», Шиллерову трагедию. Несчастливая любовь принца к его мачехе Елисавете, которая прежде была его невестой, есть содержание сей трагедии. Характер короля Филиппа II, о котором история говорит столько худого и доброго; который, для истребления ереси, проливал кровь человеческую, но, услышав о гибели флота своего, рассеянного ветром и разбитого англичанами, равнодушно сказал: «Я послал его против англичан, а не против ветров: буди воля божия!» и сие несчастье перенес с твердостью героя, – сей характер изображен с великим искусством. Благородный и пылкий в страстях своих Дон-Карлос трогает зрителя до глубины сердца. Великодушный маркиз Поза, друг принцев, пробуждающий в нем ревность к добродетели и к героическим делам, которую усыпила несчастная страсть, представлен автором в пример истинно великого мужа. Есть трогательные и ужасные сцены. – Короля играл Флек, и я еще более уверился в том, что он великий актер. Маттауш, молодой человек, представлявший Дон-Карлоса, довольно хорошо выражал живость и пылкость принцева характера. К тому же он очень недурен собою. Что принадлежит до роли маркиза Позы, то Унцельман играл ее как-то очень бездушно. Ему гораздо свойственнее представлять в «Ненависти к людям» старого генерала, который от скуки бьет мух, нежели важного маркиза Позу. Роль королевы играла очень слабо какая-то молодая актриса. Г-жа Унцельман трогательно представляла молодую принцессу, влюбленную в принца. – Сия трагедия есть одна из лучших немецких драматических пьес и вообще прекрасна. Автор пишет в Шекспировом духе. Есть только слишком фигурные выражения (так, как и у самого Шекспира), которые хотя и показывают остроумие автора, однако ж в драме не у места.

*Берлин, июля 6*

«Веди меня к Морицу», – сказал я ныне поутру наемному своему лакею. – «А кто этот Мориц?» – «Кто? Филипп Мориц, автор, философ,

педагог, психолог». – «Постойте, стойте! Вы мне много насажали; надобно поискать его в календаре под каким-нибудь одним именем. Итак (вынув из кармана книгу), итак, он философ, говорите вы? Посмотрим». – Простодушие сего доброго человека, который с важностью переворачивал листы в своем всезаключающем календаре и непременно хотел найти в нем роспись философов, заставило меня смеяться. «Посмотри его лучше между профессорами, – сказал я, – пока еще число любителей мудрости неизвестно в Берлине». – «Карл Филипп Мориц, живет в \*\*\*». – «Пойдем же к нему».

Я имел великое почтение к Морицу, прочитав его «Anton Reiser», [62 - «Антон Райзер» (нем.). – Ред.] весьма любопытную психологическую книгу, в которой описывает он собственные свои приключения, мысли, чувства и развитие душевных своих способностей. «Confessions de J.-J. Rousseau», [63 - «Исповедь Ж.-Ж. Руссо» (фр.). – Ред.] «Stillings Jugendgeschichte» [64 - «История моей молодости» Штиллинга (нем.). – Ред.] и «Anton Reiser» предпочитаю я всем систематическим психологиям в свете.

Человеку с живым чувством и с любопытным духом трудно ужиться на одном месте; неограниченная деятельность души его требует всегда новых предметов, новой пищи. Таким образом, Мориц, накопив от профессорского дохода своего несколько луидоров, ездил в Англию, а потом в Италию собирать новые идеи и новые чувства. Подробное и, можно сказать, оригинальное описание первого путешествия его, которое издал он под титулом «Reisen eines Deutschen in England» [65 - «Путешествие немца по Англии» (нем.). – Ред.] читал я с великим удовольствием. О путешествии его по Италии, откуда он недавно возвратился, немецкая публика еще ничего не знает.

Я представлял себе Морица – не знаю почему – стариком; но как же удивился, нашедши в нем еще молодого человека лет в тридцать, с румяным и свежим лицом! – «Вы еще так молоды, – сказал я, – а успели уже написать столько прекрасного!» Он улыбнулся. – Я пробыл у него час, в который мы перебрали довольно разных материй.

«Ничего нет приятнее, как путешествовать, – говорит Мориц. – Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца. – Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию; кто хочет иметь надлежащее понятие о древних, тот должен видеть Италию». – Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною. «Может быть, придет такое время, – сказал он, – в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное». Тут невольный вздох вылетел у меня из сердца. Всем новым языкам предпочитает он немецкий, говоря, что ни в котором из них нет столько значительных слов, как в сем последнем. Надобно сказать, что Мориц есть один из первых знатоков немецкого языка и что, может быть, никто еще не разбирает его так философически, как он. Весьма любопытны небольшие его

пьесы «?ber die Sprache in psychologischer R?cksicht», которые сообщает он в своем «Психологическом магазине». – «Нам должно всегда соединенными силами искать истины, твори: он, – она укрывается от уединенного искателя, и утомленному философу часто призрак истины кажется истиною». Мориц в ссоре с Кампе, славным немецким педагогом, который в «Ведомостях» разбранил его за то, что он вышел из связи с ним и не захотел более печатать своих сочинений в его типографии. «Я хотел отвечать ему в таком же тоне, – сказал Мориц, – и написал было уже листа два; однако ж одумался, бросил в огонь написанное и хладнокровно предложил публике свое оправдание». – «Странные вы люди! – думал я, – вам нельзя ужиться в мире. Нет почти ни одного известного автора в Германии, который бы с кем-нибудь не имел публичной ссоры; и публика читает с удовольствием бранные их сочинения!» – «Adieu, г. профессор!» – Я хотел было видеть Энгеля, сочинителя «Светского философа» и «Мимики»; но, к сожалению, не застал его дома. После обеда был на фарфоровой фабрике, которая по чистоте и твердости фарфора есть одна из первых в Европе. Мне показывали множество прекрасных вещей, в которых надобно удивляться искусству рук человеческих.

В театре представляли ныне Шредерову «Familiengem?hlde»[67 - «Картины семейной жизни» (нем.). – Ред.] – пьесу, которая не сделала во мне никакого приятного впечатления, может быть, оттого, что ее худо играли, – и оперу «Два охотника». В последней ролю девки-молочницы играла та актриса, которая в «Дон-Карлосе» представляла королеву: какое превращение! Однако ж девку-молочницу играет она лучше, нежели королеву.

*Берлин, июля 7*

Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Господин Ц\* называет Берлин Содомом и Гомором; однако ж Берлин еще не провалился, и небесный гнев не обращает его в пепел. В самом деле, г. Ц\*, писав это, забыл, что во всех семьях бывают уроды и что по сим уродам нельзя заключать о всей семье. Мудрено и людям считаться между собою в добродетелях или пороках, а городам еще мудренее. – Одним словом, если бы г. лейб-медик и кавалер был непристрастен; если бы некоторые люди в Берлине не зацепили его за живое, то бы он, конечно, не заговорил таким нефилософским для космополита и филантропа оскорбительным языком.

Говорят, что в Берлине много распутных женщин; но если бы правительство не терпело их, то оказалось бы, может быть, более распутства в семействах – или надлежало бы выслать из Берлина тысячи солдат, множество холостых, праздных людей, которые, конечно, не по Руссовой системе воспитаны и которые по своему состоянию не могут жениться.

Мне сказывали, что однажды ввечеру в зверинце развращенные берлинские вакханты, как фурии, бросились на одного несчастного Орфея, который уединенно гулял в темноте аллеи; отняли у него деньги, часы и сорвали бы с него самое платье, если бы подошедшие люди не принудили их разбежаться. Но когда бы рассказали мне и тысячу таких анекдотов, то я все не предал бы анафеме такого прекрасного города, как Берлин.

В похвалу берлинских граждан говорят, что они трудолюбивы и что самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и проч. Я видел старика Ф\*, едущего верхом на такой лошади, на которой бы, может быть, и я постыдился ехать по городу, и в таком кафтане, который сшит, конечно, в первой половине текущего столетия. Нынешний король живет пышнее своего предшественника; однако ж окружающие его держатся по большей части старины. – В публичных собраниях бывает много хорошо одетых молодых людей: в уборе дам виден вкус.

*Берлин, июля 8*

Если бы из народной брани можно было заключать о народном характере, то бы из *schwer Noth*, [68 - То есть падучая болезнь.] любимого немецкого слова, путешественник заключил, что в немцах много желчи, но что бы тогда должно было заключить из любимой брани нашего народа?

Здесь стоят на улицах наемные кареты так, как у нас извозчицьи дрожки или сани. За восемь грошей – что по нынешнему курсу составит сорок копеек – можно ехать в город куда угодно, только в одно место. Карета и лошади очень изрядны.

Справедливо говорят, что путешественнику надобно всегда останавливаться в первых трактирах, не только для лучшей услуги, но и для самой экономии. Там есть всему определенная цена, и лишнего ни с кого не потребуют; а в худых трактирах стараются взять с вас как можно более, если приметят, что в кошельке вашем есть золото. У г. Блума плачу я за обед, который состоит из четырех блюд, 80 коп., за порцию кофе 15 коп., а за комнату в день 50 коп. Наемный лакей всегда благодарил меня, когда я давал ему в день полтину.

Ныне счел я, что дорога от Кенигсберга стоит мне не более пятнадцати червонных. На ординарной почте платят за милю 6 грошей, или 30 копеек; сверх того, надобно давать постиллионам на вино.

*За две мили от Дрездена, 10 июля 1789*

Итак, ваш друг уже в Саксонии! – Осьмого числа отправил я к вам свой пакет из Берлина и думал еще пробыть там по крайней мере неделю; но *l'homme propose, Dieu dispose*. [69 - Человек предполагает, а бог располагает

(фр.). – Ред.] В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал, куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни; но грусть в сердце моем не утихала. Прошел в зверинец, переходил из аллеи в аллею, но мне все было грустно. «Что же делать?» – спросил я сам у себя, остановясь в конце длинной липовой аллеи, приподняв шляпу и взглянув на солнце, которое в тихом великолепии сияло на западе. Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его – сказал: «Поедем далее!» – и тростью своею провел на песке длинную змейку, подобную той, которую в «Тристреме Шанди» начертил капрал Трим (vol. VI., chap. XXIV), говоря о приятностях свободы. Чувства наши были, конечно, сходны. «Так, добродушный Трим! Nothing can be so sweet as liberty!» [71 - То есть ничего не может быть приятнее свободы.] —думал я, возвращаясь скорыми шагами в город, – и кто еще не заперт в клетку, кто может, подобно птичкам небесным, быть здесь и там, и там и здесь, тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть счастлив, и должен быть счастлив».

Итак не дожидаясь торжественного собрания Берлинской академии, решил я на другой день ехать. Мне надлежало бы еще побывать у гр. К\*, которая звала меня к себе через господина М\*, однако ж и это не могло меня остановить. – Вечер провел я очень приятно с любезным Д\*, а на другой день поутру, уклад свой чемодан и расплатясь с господином Блумом, отправился в Саксонию – на ординарной почте, в открытой коляске, с двумя студентами и одним молодым лейпцигским купцом.

С другой перемены поехал я на так называемой экстренной почте. В проклятой немецкой фуре так растрясло меня, что и теперь чувствую боль в груди. Сверх того, остался у меня на щеке рубец, и я должен еще благодарить судьбу, что глаза мои целы. Надобно знать, что дорога к саксонским границам идет по большей части лесом; а как почтовая коляска открыта и очень высока, то сидящие в ней беспрестанно должны нагибаться, чтобы не удариться головою об дерево. Ввечеру я задремал и схватил от какого-то ветвистого дерева такую пощечину, что у меня искры из глаз посыпались. Все это вместе заставило меня проститься с веселыми студентами.

Экстренная почта стоит почти вчетверо дороже ординарной. Мне дают пару лошадей с коляскою и берут с меня за милю по талеру (120 коп.).

Саксонские постиллионы отменны от прусских только цветом своих кафтанов (на последних синие с красным воротником, а на первых – желтые с голубым), впрочем, они так же жалеют своих лошадей, так же любят пить в корчмах и так же грубы.

Дороги в Саксонии очень дурны, и от Берлина до сего места не встречалось глазам моим ни одного приятного вида; только земля здесь, кажется, лучше обработана, нежели в Бранденбурге. По крайней мере известно то, что саксонские земледельцы вообще гораздо богаче прусских.

Я должен описать вам одну встречу, которая оставила во мне приятные впечатления.

В местечке или в маленьком городке, где я ныне в полдень переменял лошадей, почтмейстер не отправлял меня очень долго. Я прохаживался по двору и думал – не знаю о чем. Знаю только, что стук коляски, подъехавшей к крыльцу почтового дома, перервал нить моих мыслей. Я взошел на крыльцо и увидел молодую, прекрасную, нежную, белокурую женщину – в маленькой черной шляпке, в амазонском зеленом платье, с белым платком в руках, – вышедшую из коляски с пожилым горбатым, долгоносым мужчиною, которого изображение было бы не последнею пиесою между гогардскими карикатурами. Он подал ей руку, и, когда они проходили мимо меня, я снял шляпу и поклонился красавице – правда, не очень низко, для того чтобы ни на секунду не выпустить из глаз прелестей лица ее. Надобно думать, что взор мой стоил комплимента: на меня взглянули умильно и даже ласково! Почтмейстер встретил гостей в сенях, отвел им комнату и сам побежал за ключевой водою, в которой имела нужду красавица для освежения своих прелестей. Дверь затворилась, и я остался один в сенях. «Но разве эта дверь не отворится?» – вздумал я тихонько отворил ее. Красавица стояла перед зеркалом и белым платком отирала пыль с белого лица своего; а спутник ее сидел на креслах и зевал. «Извините, – сказал я, – у меня здесь осталась книга». Горбатый кавалер кивнул головою и указал мне книгу мою, которая лежала на столе. Красавица отворотилась от зеркала и взглянула на меня такими быстрыми, пронизательными глазами, что я, верно, бы покраснелся, если бы у меня что-нибудь дурное было на мысли; но я с спокойствием невинности смотрел на ее прекрасные голубые глаза, на ее правильный греческий нос, на ее розовые губы и щеки и любовался прелестями ее так, как молодой ваятель любит Микель-Анджеловою статуею или живописец Рафаэлевою картиною. – Красавица села, а я стоял против нее и все еще не брал своей книги. «День очень жарок», – сказала она приятным голосом, взглянув на своего спутника и на меня. Он зевнул, а я повторил ее слова: «День очень жарок». Тут последовало молчание. Зная, что женщины в решительных случаях жизни никогда не говорят первого слова, я спросил наконец: «Не в Дрезден ли вы едете, сударыня?» – «Нет, – отвечала она, – мы едем в деревню к своему приятелю. А вы, конечно, сами в Дрезден едете?» – «Так, сударыня; я надеюсь быть там завтра очень рано». – «Вы, конечно, иностранец, если смею спросить?» – «Так, сударыня». – «Конечно, англичанин? Потому что англичане хорошо говорят по-немецки». – «Извините, сударыня; я москвитянин». – «Москвитянин? Ах, боже мой! Я еще отроду не видывала москвитян». – «А я видал», – сказал горбатый кавалер и начал снова зевать. – «Да скажите, пожалуйста, как вы к нам заехали?» – «Из любопытства, сударыня». – «Надобно, чтобы вы были очень любопытны. Ведь вы, конечно, оставили в отечестве своем много любезного?» – «Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей». – Не знаю, до чего бы мы с нею договорились, если бы не пришел почтмейстер с водою и не сказал мне, что коляска моя готова. Я низко поклонился красавице, и она пожелала мне счастливого пути. – «И только?» – Что ж делать? Не хочу лгать.

Прекрасный лужок, прекрасная рощица, прекрасная женщина – одним словом, все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения. – На сей последней перемене я решился ночевать. Теперь бьет десять часов. В четыре меня разбудят.

*Дрезден, 12 июля*

Утро было прекрасное; птички пели, и молодые олени играли на дороге. Тут вдруг открылся мне Дрезден на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина составляют великолепный вид. – С приятными чувствами въехал я в Дрезден, и при первом взгляде показался он мне огромнее самого Берлина.

Я остановился в трактире на почтовом дворе и, одевшись, пошел к господину П\*, к которому было у меня письмо из Москвы. Он принял меня очень ласково и вызвался было доставить мне приятные знакомства в Дрездене; но как я пробуду здесь не более трех дней и, следовательно, не буду иметь времени пользоваться знакомствами, то мне оставалось только благодарить его за добрую волю. Мы пошли с ним ходить по городу.

Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов, но только улицы здесь гораздо теснее. Жителей считается в Дрездене около 35 000: очень не много по обширности города и величине домов! Правда, что на улицах и не много людей встречается; и на редком доме не прибито объявления об отдаче внаем комнат. За две или за три порядочно убранные горницы платят здесь в месяц не более семи или восьми талеров. – В некоторых местах города видны еще следы опустошения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами в 1760 году. – С час стоял я на мосту, соединяющем так называемый Новый город с Дрезденом, и не мог насытиться рассматриванием приятной картины, которую образуют обе части города и прекрасные берега Эльбы. – Сей мост, длиною в 670 шагов, считается лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пешех и места для отдохновения.

Господин П\* хотел, чтобы я у него обедал. «Вы увидите мое семейство», – сказал он. Нас встретила женщина лет в сорок, почтенного вида, и молодая девушка лет в двадцать, не прекрасная, но миловидная и нежная. «Вот все мое семейство!» – сказал мне господин П\* – ия поцеловал руку у той и другой. Обед был самый умеренный, однако ж и не голодный. Хозяин и хозяйка расспрашивали меня о России, и вопросы их были так умны, что ответы не приводили меня в затруднение. Господин П\* хотя и не есть ученый, однако ж много читал; и за бутылкою старого рейнского вина, которую принесла нам сама хозяйка, говорил с великим жаром о творениях некоторых немецких поэтов. Миловидная Шарлотта по большей части

молчала, но взоры и улыбки ее были красноречивы. После обеда она играла на клавесине, хотя в немецком вкусе, однако ж не без приятности. – От них пошел я в славную картинную галерею, которая почитается одною из первых в Европе. Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить; не три часа, а несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько осмотреть сию галерею. Я рассматривал со вниманием Рафаэлю [13 - Рафаэль, глава римской школы, признан единогласно первым в своем искусстве. Никто из живописцев не вникал столько в красоты антиков, никто не учился анатомии с такою прилежностью, как Рафаэль, – и потому никто не мог превзойти его в рисовке. Но знания, которые сим средством приобрел он в форме человеческой, не сделали бы его таким великим живописцем, если бы натура не одарила его творческим духом, без которого живописец есть не что иное, как бедный копист. Небесный огонь оживляет черты кисти его, когда он изображает божество; в чертах героев его видно непобедимое мужество: в образе Венеры или Роксаны умел он соединить все женские прелести, а в образе Марии – красоту, невинность и святость. Лица тиранов, им изображенные, приводят в ужас: в лицах мучеников его надобно удивляться живым чертам небесного терпения. – Правда, что картины его неравной цены; последние несравненно превосходнее первых. Преображение Христово считается лучшим его произведением. – Сей великий художник скончал жизнь свою преждевременно, от чрезмерной склонности к женскому полу, склонности, которая вовлекла его в распутство. Он родился в Урбино в 1483, а умер в Риме в 1520 году.] Марию (которая держит на руках младенца и перед которою стоят на коленях св. Сикстус и Варвара); Корреджию [14 - Корреджио, первый ломбардский живописец, почти без всякого руководства достиг до высочайшей степени совершенства в своем искусстве, не выезжав никогда из своего отечества и не выдав почти никаких хороших картин, ни антиков. Кисть его ставится в пример нежности и приятности. Рисовка не совсем правильна, однако ж искусна; головы прекрасны, а краски несравненны. Нагое тело писал он весьма живо, а лица его говорят. Одним словом, картины его отменно милы даже и для незнатков: и если бы Корреджио видел все прекрасные творения искусства в Риме и в Венеции, то превзошел бы, может быть, самого Рафаэля. – Всю жизнь свою провел он в бедности, был скромн, доволен малым и человеколюбив. Причина его смерти достойна замечания. Продав в Парме одну картину свою, взял за нее мешок медных денег и пошел с ним пешком в Корреджио. День был жарок, и ему надлежало перейти четыре мили. Радуюсь тому, что полученными деньгами может на некоторое время вывести из нужды семейство свое, не чувствовал он усталости; но пришедши домой, занемог горячкою, которая через несколько дней прекратила жизнь его. Он родился в 1532, а умер в 1588 году.] «Ночь», о которой столько писано и говорено было и в которой наиболее удивляются смеси света с тьмою; Микель-Анджелову [15 - Микель-Анджело был великий архитектор, живописец и резчик. Построенный им купол церкви св. Петра служит доказательством искусства его в архитектуре. Что принадлежит до картин его, то они не столько приятны, сколько

удивительны, для того что он всегда хотел представлять трудное и чрезвычайное. Зная хорошо анатомию, старался он слишком сильно означать мускулы в своих фигурах; а тело писал всегда кирпичного цвета. Но если Микель-Анджело не первый живописец по своей кисти, то едва ли кто-нибудь превзошел его в рисовке. – В скульптуре был он, кажется, еще искуснее. Его «Купидон», «Бахус» и «Молодой сатир» считаются лучшими творениями сего художества. – Микель-Анджело был остроумен. Когда папа Юлий спросил у него с неудовольствием, для чего он в писанных им картинах из Ветхого завета не употребил золота, по примеру старинных живописцев, то он с покорным видом отвечал, что святые мужи, им изображенные, считали блеск одежды за ложное украшение человека. Желая дать знать Рафаэлю, что он видел в Фарнезских палатах картину его, «Галатею», начертил он углем на стене Фаунову голову, которую и ныне там показывают. Рафаэль, увидев ее, сказал, что никто, кроме Микеля-Анджело, не мог начертить такой головы. – Показывая Микель-Анджелову картину распятия Христова, рассказывают всегда, будто бы он, желая естественнее представить умирающего Спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью; но анекдот сей совсем невероятен. – Он родился в 1474, а умер в 1564 году.] картину, представляющую осужденного на смерть человека и вдали город; картины Юлия Романа:[74 - Юлий Роман, лучший Рафаэлев ученик, имел плодотворное воображение и был весьма искусен в рисовке. Все фигуры его вообще очень хороши. Только жаль, что он следовал антикам более, нежели натуре! Можно сказать, что рисунки его слишком правильны и оттого все его лица слишком единообразны. Тело он писал кирпичного цвета, так, как Микель-Анджело, и краски его вообще темны. Он родился в 1492, а умер в 1546 году.] Пана, который учит на флейте молодого пастуха; играющую Цецилию, окруженную святыми, и проч. – Веронезовы:[75 - Картины Павла Веронеза превосходны по живости и приятности фигур и по свежести красок. Натура была образцом его; однако ж, как великий художник, умел он исправлять ее недостатки. – Между прочим, рассказывают об нем следующий анекдот. Однажды в окрестностях Венеции застала его на дороге буря с дождем, и он принужден был требовать убежища в загородном доме прокуратора Пизани, который принял его так ласково и дружелюбно, что живописец не мог выехать от него несколько дней. В то время написал он тихонько Дариеву фамилию (картину, на которой изображено двадцать фигур во весь рост) и спрятал ее под кровать; а прощаясь с хозяином, сказал ему, что он оставил там нечто в знак своей благодарности за его угощение. – Он родился в 1532, а умер в 1588 году.] «Воскресение», «Похищение Европы», и проч. – Караччиевы:[76 - Немногие из живописцев имели такое плодотворное воображение, как Аннибал Караччи, и немногие превзошли его в рисовке; а в последних его картинах, писанных в Риме, и самые краски очень хороши. Лучшее произведение его кисти есть Фарнезская галерея в Риме, над которою он восемь лет трудился и за которую заплатили ему весьма худо, для того что у него было много завистников и неприятелей. Он родился в 1560, а умер в 1609 году. Его

погребли подле Рафаэля, которого он любил более всех живописцев.] «Гения славы», летящего по воздуху; «Марию с младенцем, Матвеем и Иоанном», и проч. – Тинторетовы:[77 - Тинторет, венецианский живописец, старался в своих картинах соединить вкус Микель-Анджело с Тициановым, то есть первому подражал он в рисунках, а второму в красках. (Тициан считается первым колористом в свете.) Картины его весьма неравной цены, и потому говорили о нем, что он пишет иногда золотую, иногда серебряную, а иногда железною кистью. Он родился в 1512, а умер в 1594 году.] «Аполлона с музами», «Падение ангелов», и проч. – Бассановы:[78 - В Бассановых картинах надобно удивляться живописи красок, а в рисовке был он не весьма искусен, подобно всем венецианским живописцам. Тело писал очень живо, а платье нехорошо. Ландшафты его прекрасны. – Он родился в 1570, а умер в 1592 году.] «Израильский народ в пустыне», «Ноево семейство», и проч. – Джиордановы:[79 - Во всех Джиордановых картинах видна отменная легкость кисти; но как он писал слишком много, то почти все картины его недоделаны, и вообще рисовка не очень правильна. Главною его моделью был Павел Веронез; но он умел подражать всем лучшим живописцам, так что самые знатоки иногда обманывались и принимали его подражание за оригинал. – Он родился в Неаполе в 1632, а умер в 1705 году.] «Похищение сабинок», «Умиряющего Сократа», «Сусанну в купальне», и проч. – Розовы:[80 - Салватор Роза, неаполитанский живописец, писал лучше ландшафты, нежели исторические картины. Фигуры его по большей части неправильны, однако ж в них видна смелая кисть и отменная живость. Деревья, горы и вообще всякие виды писал он прекрасно. Родился в 1615, а умер в 1675 году.] собственный его портрет и ландшафт с деревьями, где сидящий старик говорит с двумя стоящими, – Пуссеневы:[81 - В картинах Николая Пуссеня, славного французского живописца, видны высокие мысли и живое выражение страстей; рисовка его правильна, но краски не очень хороши. В сем подобен он римским живописцам, которые вообще не уважают колорита. Ландшафты его прекрасны. Он родился в 1594, а умер в 1663 году.] «Ноево жертвоприношение», ландшафт с двумя сидящими нимфами и с Нарциссом, который смотрится в воду, и еще другой, где спит нагая нимфа, которую рассматривают из-за дерева двое мужчин, – Рубенсовы:[82 - Рубенс по справедливости называется фландрским Рафаэлем. Какой пиитический дух виден в его картинах! Какие богатые мысли! Какое согласие в целом! Какие живые краски, лица, платья! Он никак не хотел подражать антикам и писал все с натуры. К совершенству его картин недостает той правильности в рисовке, которою славится римская школа. – Рубенс способен был не только к живописи, но и к важным государственным делам и, будучи посланником в Англии, умел согласить Карла I на мир с Испанией. Возвратясь во Фландрию, женился он на Елене Форман, славной красавице, которая часто служила ему моделью. Он родился в 1577, а умер в 1640 году.] сидящую Марию с младенцем, которому ангелы подают плоды; «Страшный суд», «Христа, спящего на корабле во время бури», «Похищение Прозерпины», «Пьяного Силена с нимфами»,

«Венеру с Адонисом», «Наказываемого Купидона», которого одна женщина держит на руках, а другая сечет лозою; «Нептуна, укрощающего море», и проч. – Ван Диковы[83 - Ван Дик, Рубенсов ученик, есть, конечно, первый портретный живописец в свете. Колорит его не уступает Рубенсову: головы и руки писал он прекрасно. Но для исторической живописи был уже не так способен, для того что не имел Рубенсова пиитического духа. Король Карл I призвал его в Англию, где он мог бы обогатиться от своей работы, если бы жил умереннее и не прилепился к алхимии. Он родился в 1599, а умер в 1641 году.] изображения королей Карла II и Якова II; Иеронима, у ног которого лежит лев, и проч. – и, наконец, Менгсовы, которых очень много. Между прочими картинами есть прекрасные перспективы и такие живые изображения винограда и других плодов, что хочется их взять. – Самые лучшие картины перешли в Дрезденскую галерею из Моденской, например Корреджиева «Ночь». Август III, польский король, был великий любитель живописи и не жалел денег на покупку хороших картин.

Надзиратель сказывал, что за несколько недель перед тем украли из галереи картин десять, и притом самых лучших; но что, к счастью, воров скоро отыскали, и картины возвратились на прежнее свое место. – Выходя, вручил я господину надзирателю голландский червонец.

Надобно было еще видеть так называемую зеленую кладовую (das Grüne Gewölbe), или собрание драгоценных камней, которому в целом свете едва ли есть подобное, и, чтобы взглянуть на этот блестящий кабинет саксонского курфюрста и после сказать: «Я видел редкость!», надобно заплатить голландский червонец. Мне сказывали, что один знатный француз, смотря на камни, сказал курфюрсту: «Хорошо, очень хорошо: а что это стоит вашей светлости?»

После картинной галереи и зеленой кладовой третья примечания достойная вещь в Дрездене есть библиотека, и всякий путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, считает за должность видеть ее, то есть взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: «Какая огромная библиотека!» – Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Эврипидовой трагедии, проданный в библиотеку бывшим московским профессором Маттеем; за сей манускрипт, вместе с некоторыми другими, взял он с курфюрста около 1500 талеров. Спрашивается, где г. Маттей достал сии рукописи?

Ввечеру гулял я в саду, который называется Zwinger Garten[85 - Сад при Цвингере (нем.). – Ред.] и который хотя невелик, однако ж приятен. Посланника нашего нет в Дрездене. Он поехал в Карлсбад.

*Июля 12*

Ныне поутру вошел я в придворную католическую церковь во время обедни. Великолепие храма, громкое и приятное пение, сопровождаемое согласными звуками органа; благоговение молящихся, к небу воздетые руки

священников – все сие вместе произвело во мне некоторый восхитительный трепет. Мне казалось, что я вступил в мир ангельский и слышу гласы блаженных духов, славословящих неизреченного. Ноги мои подогнулись; я стал на колени и молился от всего сердца.

*Июля 12, в 10 часов вечера*

После обеда был я в гостях у нашего молодого священника, где познакомился еще с секретарем нашего министра, а оттуда пошел один гулять за город, в так называемый Большой сад. Длинная аллея вывела меня на обширный зеленый луг. Тут на левой стороне представилась мне Эльба и цепь высоких холмов, покрытых леском, из-за которого выставляются кровли рассеянных домиков и шпицы башен. На правой стороне поля, обогащенные плодами; везде вокруг меня расстилались зеленые ковры, усеянные цветами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и – даже плакал, что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень, очень весело! – Вынул бумагу, карандаш; написал: «Любезная природа!» – и более ни слова!! Но едва ли когда-нибудь чувствовал так живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь в сердце своем был так добр и так благодарен против моего творца, как в сии минуты. Мне казалось, что слезы мои льются от живой любви к Самой Любви и что они должны смыть некоторые черные пятна в книге жизни моей.

А вы, цветущие берега Эльбы, зеленые леса и холмы! Вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь в северное отдаленное отечество мое, в часы уединения буду вспоминать прошедшее!

*Мейсен, июля 13*

Я решился ныне поутру ехать в Лейпциг в публичной почтовой коляске (которая называется желтою, *Gelbe Kutsche*, для того что обита желтым сукном). В десять часов надлежало нам отправиться. Отдав свой чемодан шафнеру (так называется в Саксонии проводник почты) и сказав ему, что буду дожидаться коляски на дороге, пошел я из Дрездена пешком в девять часов утра. Наемный слуга согласился за несколько грошей быть моим путеводителем.

Скорыми шагами вышел я из города, но, вышедши, почти на каждом шагу останавливался и любовался прекрасною натурою и плодами трудолюбия. Дорога идет вдоль по берегу Эльбы. На левой стороне за рекою видны горы, покрытые частым зеленым березником и ольхами; а на правой – плодоносная равнина с полями и деревеньками, которую в отдалении ограничивают виноградные сады.

Как ясно было небо, так ясна была душа моя. Я видел везде благоденствие, счастье и мир. Птички, которые порхали и плавали по чистому воздуху над головою моею, изображали для меня веселье и беспечность. Они чувствуют бытие свое и наслаждаются им! Каждый поселянин, идущий по лугу, казался мне благополучным смертным, имеющим с избытком все то, что потребно человеку. «Он здоров трудами, – думал я, – весел и счастлив в час отдохновения, будучи окружен мирным семейством, сидя подле верной своей жены и смотря на играющих детей. Все его желания, все его надежды ограничиваются обширностью его полей; цветут поля, цветет душа его». – Молодая крестьянка с посошком была для меня аркадскою пастушкою. «Она спешит к своему пастуху, – думал я, – который ожидает ее под тенью каштанового дерева, там, на правой стороне, близ виноградных садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце, встает и видит любезную, которая издали грозит ему посошком своим. Как же бежит он навстречу к ней! Пастушка улыбается; идет скорее, скорее – и бросается в отверстия объятия милого своего пастуха». – Потом видел я их (разумеется, мысленно) сидящих друг подле друга в сени каштанового дерева. Они целовались, как нежные горлицы.

Я сел на дороге и дождался почтовой коляски. У меня было довольно товарищей; между прочими магистер, или деревенский проповедник, в рыжем парике, и двое молодых студентов, лейпцигский и прагский, который сидел подле меня и тотчас вступил со мною в разговор, – о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом «Федоне», о душе и теле. «„Федон“, – сказал он, – есть, может быть, самое остроумнейшее философическое сочинение; однако ж все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых философов!» – «Надобно искать его в сердце», – сказал я. – «О государь мой! – возразил студент. – Сердечное уверение не есть еще философическое уверение: оно ненадежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства – на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные, необходимые истины. Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных снях, во мраке ночи, при слабом свете лампы, забывая сон и отдохновение. – Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам все бы открылось; но...» – Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее:

«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа – все сие существует единственно потому, что вне нас существует, – по феноменам или явлениям, которые до нас касаются». – «Прекрасно! – сказал студент. – Прекрасно! Но если думает он, что...» Тут коляска остановилась: шафнер отворил дверцы и сказал: «Госпожи и господа! Извольте обедать».

Мы вошли в трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, часть жареной телятины, салат и масло, за что взяли после с каждого копеек по сорок.

Дорога до самого Мейсена очень приятна. Земля везде наилучшим образом обработана. Виноградные сады, которые сперва видны были в отдалении, подходят ближе к Эльбе, и наконец только одна дорога отделяет их от реки. Тут стоят перпендикулярно огромные гранитные скалы. Некоторые из них – чего не делает трудолюбие! – покрыты землею и превращены в сады, в которых родится лучший саксонский виноград. – На другой стороне Эльбы представляются развалины разбойничьих замков. Там гнездятся ныне летучие мыши, свистят и воют ветры.

Один древний поэт сказал:

Est locus, Albiacis ubi Misna rigatur ab undis,

Fertilis et viridi totus amoenus humo.[91 - Там, где Мейсен орошается волнами Эльбы, – плодородная и во всех отношениях благодаря зеленеющей почве приятная местность (лат.). – Ред.]

В этом месте теперь я. – Мейсен лежит частию на горе, частию в долине. Окрестности прекрасны; только город сам по себе очень некрасив. Улицы не ровны и не прямы; дома все готические и показывают странный вкус прошедших веков. Главная церковь есть большое здание, почтенное своею древностию. Старый дворец возвышается на горе. Некогда воспитывались там герои от племени Виттекиндова (сего славного саксонского князя, который столь храбро защищал свободу своего отечества и которого Карл Великий победил не оружием, а великодушием своим). Ныне в сем дворце делают славный саксонский фарфор. Чтобы видеть фабрику, надобно выпросить билет у главного надзирателя.

Господин Маттей был несколько лет директором здешней школы; но недель за шесть перед сим оставил Мейсен и уехал в Виттенберг. Ему, конечно, везде дадут место. Он считается в Германии одним из лучших филологов.

Надобно садиться в коляску и проститься с пером до Лейпцига.

*Лейпциг, июля 14*

Дорога от Мейсена идет сперва по берегу Эльбы. Река, кроткая и величественная в своем течении, журчит на правой стороне, а на левой возвышаются скалы, увенчанные зеленым кустарником, из-за которого в разных местах показываются седые, мшистые камни.

Отъехав от Мейсена с полмили, вышли мы с прагским студентом из коляски, которая ехала очень тихо, и версты две шли пешком. После вопроса: женат ли я? – студент мой начал говорить о женщинах, и притом не в похвалу их. «На гробе друга моего, – сказал он, – друга, который пошел в землю от несчастной любви к одной ветреной, легкомысленной женщине, клялся я удаляться от этого опасного для нас пола и вечно быть холостым.

Науки занимают всю мою душу – и, благодаря бога! могу быть счастлив сам собою». – «Тем лучше для вас», – сказал я.

Стали находить облака, и мы сели опять в коляску. Тут магистер шумел с лейпцигским студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разные сомнения. Магистер брался все решить, но, по мнению студента, не решил ничего. Это его очень сердило. «Наконец, я должен вспомнить, – сказал он, потирая рукою свой красный лоб, – что некоторые люди совсем не имеют чувства истины. Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего влить нельзя; или железному шару, в который ничто проникнуть не может и от которого все отпрыгивает...» – «И такие головы, – прервал студент, – часто бывают покрыты рыжими париками и торчат на кафедрах». – «Государь мой! – закричал магистер, поправив свой парик, – о ком вы говорите?» – «О тех людях, о которых вы сами говорить начали», – спокойно отвечал студент. «Лучше замолчать», – сказал магистер. – «Как вам угодно», – отвечал студент.

Между тем наступила ночь. Магистер снял с себя парик, положил его подле себя, надел на голову колпак и начал петь вечерние молитвы нестройным, диким голосом. Лейпцигский студент тотчас пристал к нему, и они, как добрые ослы, затаили такое дуо, что надобно было зажать уши. – К счастью, певцы скоро унялись; в коляске все замолкло, иязаснул.

На рассвете остановились мы переменять лошадей, и, когда стали выходить из коляски, чтобы идти в трактир пить кофе, магистер хватился своего парика, искал его подле себя и на земле и, не могши найти, поднял крик и вопль: «Куда он девался? Как мне быть без него? Как я, бедный, покажусь в городе?» Он приступил к шафнеру и требовал, чтобы парик его непременно был отыскан. Шафнер искал и не находил. Лейпцигский студент тирански смеялся над горестию бедного магистера и наконец, как будто бы сжался над ним, советовал ему поискать у себя в карманах. «Чего тут искать?» – сказал он, однако ж опустил руку в карман своего кафтана и – вытащил парик. Какая минута для живописца! Магистер от внезапной радости разинул рот, держал парик перед собою и не мог сказать ни одного слова. «Вы ищете за милую того, что у вас под носом», – сказал ему шафнер с сердцем; но душа магистера была в сию минуту так полна, что ничто извне не могло войти в нее, и шафнерова риторическая фигура проскочила если не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовою гипотезою о происхождении идей) не тронув в его мозгу никакой новой или девственной фибры (*fibre vierge*). Конечно, долее минуты продолжалось его безмолвное восхищение. Наконец он засмеялся и, надевая на себя парик, уверял нас, что он, магистер, не клал его в карман; а как парик зашел туда, о том ведает сатана и... Тут взглянул он на лейпцигского студента и замолчал.

Без всяких дальнейших приключений доехали мы до Лейпцига.

Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность: сюда стремились мысли мои за несколько лет перед сим; здесь хотел я собрать

нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! – Но судьба не хотела исполнить моего желания.

Воображая, как бы я мог провести те лета, в которые, так сказать, образуется душа наша, и как я провел их, чувствую горечь в сердце и слезы в глазах. – Нельзя возвратить потерянного! —

В 11 часов ночи. Я остановился в трактире у Мемеля, против почтового двора. Комната у меня чиста и светла, а хозяин услужлив и говорлив до крайности. Между тем как я разбираю свой чемодан, рассказывал он мне о порядке, заведенном в его доме, о своем бескорыстии, честности и проч. «Все те, которые жили у меня, – говорил он, – были мною довольны. Я получаю, конечно, не много барыша, да зато идет обо мне добрая слава; зато у меня совесть чиста и покойна, а у кого покойна совесть, тот счастлив в здешней жизни, и ничего не боится, и ни от чего не бледнеет...» В самую сию секунду грянул гром, и г. Мемель испугался и побледнел. «Что с вами сделалось?» – спросил я. «Ничего, – отвечал он, запинаясь, – ничего; только надобно затворить окно, чтобы не было сквозного ветру».

В нынешнее лето я еще не видал и не слышал такой грозы, какая была сегодня. В несколько минут покрылось небо тучами; заблестала молния, загредел гром, буря с градом зашумела, и – через полчаса все прошло; солнце снова осветило небо и землю, и трактирщик мой опять начал говорить о неустрашимости того, кто берет за все умеренную цену и, подобно ему, имеет чистую совесть.

За ужином познакомился я с г. фон Клейстом, который служил прусскому королю тайным советником, но по некоторым неприятным обстоятельствам должен был оставить Пруссию и который, выгнав из воображения своего все призраки льстящей надежды, живет здесь в философическом спокойствии, наслаждаясь приятностию дружбы и обхождения с просвещеннейшими мужами. – Ночь провел я в коляске беспокойно. Теперь глаза мои смыкаются.

*Июля 15*

Ныне познакомился я с г. Мелли, молодым женевцем, к которому было у меня письмо из Петербурга от Ш\*, английского купца, и который, приняв меня учтиво, взял на себя продать здесь один из векселей моих, а другой, голландский, променять на французский. – От него зашел я в теологическую аудиторию; видел множество присутствующих, но мало слушающих. Дело шло о некоторых еврейских словах – это не мое дело, и я, постояв у дверей, ушел.

Потом бродил я несколько часов из улицы в улицу и вокруг города, занимаясь местными наблюдениями. Собственно, так называемый город очень невелик, но с предместьями, где много садов, занимает уже довольно большое пространство. Местоположение Лейпцига не так живописно, как Дрездена; он лежит среди равнин, – но как сии равнины хорошо обработаны и, так

сказать, убраны полями, садами, рощицами и деревеньками, то взор находит тут довольно разнообразия и не скоро утомляется. Окрестности дрезденские прекрасны, а лейпцигские милы. Первые можно уподобить такой женщине, о которой все при первом взгляде кричат: «Какая красавица!», а последние – такой, которая всем же нравится, но только тихо, которую все же хвалят, но только без восторга; о которой с кротким, приятным движением души говорят: «Она миловидна!»

Домы здесь так же высоки, как и в Дрездене, то есть по большей части в четыре этажа; что принадлежит до улиц, то они очень не широки. Хорошо, что здесь по городу не ездят в каретах и пешие не боятся быть раздавлены.

Я не видал еще в Германии такого многолюдного города, как Лейпциг. Торговля и университет привлекают сюда множество иностранцев.

---

После обеда был я у г. Бека, молодого, но весьма уважаемого, по его знаниям и талантам, профессора. Я отдал ему письмо к магистру Р\*, который у него жил, но которого здесь уже нет. Господин Бек рассказал мне, что Р\* за несколько времени перед сим был вызван из Лейпцига одним деревенским дворянином, с тем чтобы быть проповедником в его деревне; но что, приехав туда, нашел он много препятствий со стороны духовных; что ему надлежало выдержать престокий экзамен, на котором старались его разбить и запутать в словах; что он, вышедши наконец из себя, схватил шляпу, пожелал высокоученым своим испытателям поболее любви к ближнему, ушел и скрылся неизвестно куда.

Профессор Бек есть тихий, скромный человек, осторожный в своих суждениях и говорящий с великою приятностию. От него узнал я о славе «Анахарсиса», сочинения аббата Бартелеми. Лишь только он вышел в свет, все французские литераторы преклонили колена свои и признали, что древняя Греция, столь для нас любопытная, Греция, которой удивляемся в ее развалинах и в малочисленных до нас дошедших памятниках ее славы, – никогда еще не была описана столь совершенно. Геттингенский профессор Гейне, один из первых знатоков греческой литературы и древностей, рецензировал «Анахарсиса» в «Геттингенских ученых ведомостях» и прославил его в Германии. Господин Бек с великим нетерпением ожидает своего экземпляра.

Никто из лейпцигских ученых так не славен, как доктор Платнер, эклектический философ, который ищет истины во всех системах, не привязываясь особенно ни к одной из них; который, например, в ином согласен с Кантом, в ином – с Лейбницем или противоречит обоим. Он умеет писать ясно, и кто хотя несколько знаком с логикою и метафизикою, тот легко может понимать его. «Афоризмы» Платнеровы весьма уважаются, и человеку, хотящему пуститься в лабиринт философских систем, могут они служить Ариадниною нитью. Мне хотелось его видеть, и от г. Бека пошел я к нему. Он живет за городом, в саду. В аллее встретилась мне молодая жена его, Вейсеева дочь, и сказала, что господин доктор дома. Минуты через две явился он сам – высокий, сухощавый человек лет за сорок, с острыми

глазами, с ученою миною и с величавою осанкою. «Я уже слышал о вас от г. Клейста», – сказал он и ввел меня в свой кабинет. «Признаюсь вам, что я теперь занят, – продолжал он, – мне надобно писать письма; завтра, в этот час, прошу вас к себе», – и проч. Я извинялся, что пришел не вовремя, и кланялся, подвигаясь к дверям. «Какой или каким наукам вы особенно себя посвятили?» – спросил он. «Изыщным», – отвечал я и покраснелся, – знаю отчего – может быть, и вы, друзья мои, знаете.

Вечеру я бродил по садам и по аллеям. Рихтеров сад велик и хорош. Девушка в белом корсете, лет двенадцати, подала мне при выходе букет цветов. Это мне очень понравилось. Я изъявил ей свою благодарность двумя грошами!!

В Вендлеровом саду видел я Геллертов монумент, сделанный из белого мрамора профессором Эзером. Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, вспомнил я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку, когда, читая его «Инкле и Ярико», обливался я горькими слезами или, читая «Зеленого осла», смеялся от всего сердца; когда профессор \*\*\*, преподавая нам, маленьким своим ученикам, мораль по Геллертовым лекциям (*Moralische Vorlesungen*), с жаром говаривал: «Друзья мои! Будьте таковы, какими учит вас быть Геллерт, и вы будете счастливы!» Воспоминания растрогали мое сердце. История жизни моей представилась мне в картине: довольно тени! И что еще в будущем ожидает меня?

Я пошел из сада в церковь св. Иоанна, где поставлен Геллерту учениками и друзьями его иной памятник, представляющий религию, которая из металла вылитый и лаврами увенчанный образ его подает добродетели (прекрасная мысль!). Обе статуи сделаны из белого мрамора. Внизу – имя его и следующая надпись, сочиненная другом его Гейне: «Сему учителю и примеру добродетели и религии посвятило сей памятник общество друзей его и современников, бывших свидетелями его достоинств». – Приятно, восхитительно для всякого чувствительного сердца видеть такие надписи и знать, что не лесть, а истина начертала их. Все, знавшие покойного Геллерта, единогласно называли его мужем добродетельным. Жизнь его была сильнейшим опровержением мнения тех людей, которые, находя порок во всяком уголке сердца человеческого, считают добродетель за одно пустое имя, – и тех, которые утверждают, что религия не делает людей лучшими. «Всем, что есть во мне доброго, – говаривал покойник тысячу раз друзьям своим, – всем обязан я христианству». – Описание его жизни заключается сими словами: «Неверно то удивление и бессмертие, которого ожидать могут произведения творческого духа, ибо вкус народов переменяется со временем; но честь его нравственного характера нетленна и непреходяща, подобно религии и добродетели, которых век есть – вечность!»

Нет, г. Мемель, я не пойду ужинать. Сяду под окном, буду читать Вейсееву «Элегию на смерть Геллерта», Крамерову и Денисову оду; буду

читать, чувствовать и – может быть, плакать. Нынешний вечер посвящу памяти добродетельного. Он здесь жил и учил добродетели!

*Июля 16*

Ныне поутру слышал я эстетическую лекцию доктора Платнера.

Эстетика есть наука вкуса. Она трактует о чувственном познании вообще. Баумгартен первый предложил ее как особливую, отделенную от других науку, которая, оставляя логике образование высших способностей души нашей, то есть разума и рассудка, занимается исправлением чувств и всего чувственного, то есть воображения с его действиями. Одним словом, эстетика учит наслаждаться изящным.

Превеликая зала была наполнена слушателями, так что негде было упасть яблоку. Я должен был остановиться в дверях. Платнер говорил уже на кафедре. Все молчало и слушало. Никакой шорох не мешал голосу г. доктора распространяться по зале. Я был далеко от него, однако же не проронил ни одного слова. Он говорил о великом духе или о гении. «Гений, – сказал он, – не может заниматься ничем, кроме важного и великого, – кроме природы и человека в целом. Итак, философия, в высочайшем смысле сего слова, есть его наука. Он может иногда заниматься и другими науками, но только всегда в отношении к сей; имеет особливую способность находить сокровенные сходства, аналогии, тайные согласия в вещах и часто видит связь там, где обыкновенный человек никакой не видит; и потому часто находит важным то, что обыкновенному человеку, которого взор простирается недалеко, кажется безделкою. Лейбниц, великий Лейбниц, проехал всю Германию и Италию, рылся во всех архивах, в пыли и в гнили молью источенных бумаг для того, чтобы собрать материалы для истории Брауншвейгского дому! Но пронизательный Лейбниц видел связь сей истории с иными предметами, важными для человечества вообще. – Наконец, во всех делах такого человека виден особый дух ревности, который, так сказать, оживляет их и отличает от дел людей обыкновенных. Я вам поставлю в пример Франклина, не как ученого, но как политика. Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть его ходатаем! С сей минуты перестает жить для себя и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его, текущего к своей великой цели, которая есть благо человечества! – Сей же дух ревности оживляет и отличает сочинения великих гениев. Если бы можно было извлечь его, например, из Мендельзоновых „Философических писем“ или Иерузалимовой книги „О религии“, то в первых осталось бы одно схоластическое мудрование, а во второй – обыкновенные догматы теологии; но, одушевляемые сим огнем, возвышают они душу читателя». —

Платнер говорит так свободно, как бы в своем кабинете, и очень приятно. Все, сколько я мог видеть, слушали с великим вниманием. Сказывают, что лейпцигские студенты никого из профессоров так не любят и не почитают, как его. – Когда он сошел с кафедры, то ему, как царю, дали

просторную дорогу до самых дверей. «Я никак не думал вас здесь увидеть, – сказал он мне, – а если бы знал, что вы сюда придете, то велел бы приготовить для вас место». Он пригласил меня к себе после обеда и сказал, что хочет ужинать со мною в таком месте, где я увижу некоторых интересных людей.

*Июля 16, в 2 часа пополудни*

Говорят, что в Лейпциге жить весело, – и я верю. Некоторые из здешних богатых купцов часто дают обеды, ужины, балы. Молодые щеголи из студентов являются с блеском в сих собраниях: играют в карты, танцуют, куртизируют. Сверх того, здесь есть особливые ученые общества, или клубы; там говорят об ученых или политических новостях, судят книги и проч. – Здесь есть и театр; только комедианты уезжают отсюда на целое лето в другие города и возвращаются уже осенью, к так называемой Михайловой ярманке. – Для того, кто любит гулять, много вокруг Лейпцига приятных мест; а для того, кто любит усладить вкус, есть здесь отменно вкусные жаворонки, славные пироги, славная спаржа и множество плодов, а особливо вишни, которая очень хороша и теперь так дешева, что за целое блюдо надобно заплатить не более десяти копеек. – В Саксонии вообще жить недорого.

За стол без вина плачу здесь 30 коп., за комнату – также 30 коп., то же платил я и в Дрездене.

Почти на всякой улице найдете вы несколько книжных лавок, и все лейпцигские книгопродавцы богатеют, что для меня удивительно. Правда, что здесь много ученых, имеющих нужду в книгах; но сии люди почти все или авторы, или переводчики, и, собирая библиотеки, платят они книгопродавцам не деньгами, а сочинениями или переводами. К тому же во всяком немецком городе есть публичные библиотеки, из которых можно брать для чтения всякие книги, платя за то безделку. – Книгопродавцы из всей Германии съезжаются в Лейпциг на ярманки (которых бывает здесь три в год; одна начинается с первого января, другая – с пасхи, а третья – с Михайлова дня) и меняются между собою новыми книгами. Бесчестными почитаются из них те, которые перепечатывают в своих типографиях чужие книги и делают через то подрыв тем, которые купили манускрипты у авторов. Германия, где книжная торговля есть едва ли не самая важная, имеет нужду в особливом и строгом для сего законе. – Вы пожелаете, может быть, знать, как дорого платят книгопродавцы авторам за их сочинения? Смотря по сочинителю. Если он еще неизвестен публике с хорошей стороны, то едва ли дадут ему за лист и пять талеров; но когда он прославится, то книгопродавец предлагает ему десять, двадцать и более талеров за лист.

В 11 часов вечера. В назначенный час я пришел к Платнеру. «Вы, конечно, поживете с нами», – сказал он, посадив меня. – «Несколько дней», – отвечал я. – «Только? Аядумал, что вы приехали пользоваться Лейпцигом.

Здесь ученые сочли бы за удовольствие способствовать вашим успехам в науках. Вы еще молоды и знаете немецкий язык. Вместо того чтобы переезжать из города в город, лучше вам пожить в таком месте, как Лейпциг, где многие из ваших единомыслителей искали просвещения и, надеюсь, не тщетно». – «Я почел бы за особое счастье быть вашим учеником, г. доктор; но обстоятельства...» – «Итак, мне остается жалеть, если они не позволяют вам на сей раз остаться с нами».

Он помнит К\*, Р\* и других русских, которые здесь учились. «Все они были моими учениками, – сказал он, – только я был тогда еще не то, что теперь». – «По крайней мере ваши „Афоризмы“ еще не были изданы...»

И в самую ту минуту, как я, упомянув об «Афоризмах», хотел просить у него объяснения на некоторые места из них, пришли к нему с университетскими делами. Он отправляет должность ректора. «У меня не много свободного времени, – сказал он, – однако ж вы должны ныне со мною ужинать. В восемь часов велите себя проводить в трактир „Голубого ангела“».

Я имел время погулять в Рихтеровом саду (где девушка в белом корсете опять вручила мне букет цветов) и в восемь часов пришел в трактир «Голубого ангела». Меня провели в большую комнату, где накрыт был стол на двадцать кувертов, но где еще никого не было. Через полчаса явился Платнер с ученою братиею. Он каждому представлял меня и сказывал мне имена их; но все они были мне неизвестны, кроме старого профессора Эзера и биргермейстера Миллера, издавшего Сульцерову «Теорию изящных наук» с своими примечаниями. Сели за ужин – самый афинский; только что вино пили мы не из чаш, цветами оплетенных, а из простых саксонских рюмок. Все были веселы и говорливы; хотели, чтобы и я говорил, и спрашивали меня о нашей литературе. Они очень удивились, слыша от меня, что десять песен «Мессиады» переведены на русский язык. «Я не думал бы, – сказал молодой профессор поэзии, – чтобы в вашем языке можно было найти выражения для Клопштоковых идей». – «Еще то скажу вам, – промолвил я, – что перевод верен и ясен». – В доказательство, что наш язык не противен ушам, читал я им русские стихи разных мер, и они чувствовали их определенную гармонию. Говоря о наших оригинальных произведениях, прежде всех наименовал я две эпические поэмы, «Россияду» и «Владимира, которые должны имя творца своего сделать незабвенным в истории российской поэзии. – Платнер играл за ужином первую роль, то есть он управлял разговором. Если вообще справедливо укоряют немецких ученых некоторою неловкостью в обхождении, то по крайней мере доктор Платнер (и, конечно, вместе со многими другими) должен быть исключен из сего числа. Он самый светский человек: любит и умеет говорить; говорит смело, для того что знает свою цену. – Старик Эзер любезен по своему простосердечию. К нему имеют уважение; слушают его анекдоты и смеются, примечая, что он хочет смешить. Во время царствования императрицы Елисаветы Петровны сбирался он ехать в Россию, но раздумал. Что принадлежит до биргермейстера Миллера, то он, кажется, очень важничает. – В десять часов

встали, пожелали друг другу доброго вечера и разошлись. Платнер не позволил мне заплатить за ужин, что для меня не совсем приятно было. – Таким образом избранные лейпцигские ученые ужинают вместе один раз в неделю и проводят вечер в приятных разговорах.

Милые друзья мои! Я вижу людей, достойных моего почтения, умных, знающих, ученых, славных – но все они далеки от моего сердца. Кто из них имеет во мне хотя малейшую нужду? Всякий занят своим делом, и никто не заботится о бедном страннике. Никто не хватится меня завтра, если нынешняя ночь на черных своих крыльях унесет мою душу из здешнего мира; ничей вздох не полетит вслед за мною – и вы бы долго, долго не узнали о преселении вашего друга!

*Июля 17*

В шестом часу вышел я за город с покойным и веселым духом; бросился на траву бальзамического луга, наслаждался утром – и был счастлив!

Солнце взошло высоко, и жар лучей его дал мне чувствовать, что полдень недалеко. Деревня, в которой живет Вейсе, была у меня в виду. Пожелав доброго утра молодой крестьянке, которая мне встретилась, я спросил у нее, где дом господина Вейсе? – «Там, на правой стороне, большой дом с садом!» —

Вейсе, любимец драматической и лирической музыки, друг добродетели и всех добрых, друг детей, который учением и примером своим распространил в Германии правила хорошего воспитания, – Вейсе проводит лето в маленькой деревеньке, верстах в двух от Лейпцига, среди честных поселян и семейства своего. Я вошел в горницу и видел в окно, как любезный хозяин, маленький человечек в красном халате и в белой шляпе, спешил к дому по аллее, узнав от служанки, что какой-то москвитянин его дожидается. Он вошел в горницу в том же красном халате, но только уже не в белой шляпе, а в напудренном парике с кошельком. Я с примечанием смотрел на портрет твой, любезный Вейсе, и узнал бы тебя между тысячами! – Ему уже с лишком шестьдесят лет; но румяное и свежее лицо его не показывает ни пятидесяти – и во всякой черте лица сего видна добрая душа!

Он обошелся со мною ласково, сердечно, просто; жалел, что я пришел к нему, а не он ко мне – и в такой жар; потчевал меня лимонадом, и проч.

Я сказал ему, что разные пиесы из его «Друга детей» переведены на русский, и некоторые мною. В Германии многие писали и пишут для детей и для молодых людей, но никто не писал и не пишет лучше Вейсе. Он сам отец, и отец нежный, посвятивший себя воспитанию юных сердец. Со всех сторон осыпали его благодарностию, когда он издавал свои еженедельные листы: дети благодарили за удовольствие, а отцы – за видимую пользу, которую сие чтение приносило их детям. – Он издает ныне «Переписку фамилии Друга детей», приятную и полезную молодым людям.

Вейсе с великою скромностию говорит о своих сочинениях; однако ж без всякого притворного смирения, которое для меня так же противно, как и самохвальство. – С каким чувством описывает семейственное свое счастье! «Благодарю бога, – сказал он сквозь слезы, – благодарю бога! Он дал мне вкусить в здешней жизни самые чистейшие удовольствия; и я осмелился бы назвать свое счастье совершенным, если бы небесная благодать возвратила здоровье дочери моей, которая несколько лет больна и которой искусство врачей не помогает». – Одним словом, если я любил Вейсе как автора, то теперь, узнав его лично, еще более полюбил как человека.

У него есть рукописная история нашего театра, переведенная с русского. Господин Дмитриевский, будучи в Лейпциге, сочинил ее; а некто из русских, которые учились тогда в здешнем университете, перевел на немецкий и подарил господину Вейсе, который хранит сию рукопись как редкость в своей библиотеке.

Наконец я с ним простился. «Путешествуйте счастливо, – сказал он, – и наслаждайтесь всем, что может принести удовольствие чистому сердцу! Однако ж я постараюсь еще увидеться с вами в Лейпциге». – «А вы наслаждайтесь ясным вечером своей жизни!» – сказал я, вспомнив Лафонтенов стих: «Safin (то есть конец мудрого) est le soir d'un beau jour», [104 - Его конец – вечер прекрасного дня (фр.). – Ред.] – и пошел от него, будучи совершенно доволен в своем сердце. Один взгляд на доброго есть счастье для того, в ком не заглохло чувство добра.

Возвратясь в Лейпциг, зашел я в книжную лавку и купил себе на дорогу Оссианова «Фингала» и «Vicar of Wakefield». [105 - «Векфилдского священника» (англ.). – Ред.] — [106 - ...купил себе на дорогу Оссианова «Фингала» и «Vicar of Wakefield». – «Оссианов „Фингал“» (1762) – литературная подделка Дж. Макферсона (1738–1796), приписанная им кельтскому барду III в.; «Векфилдский священник» (1766) – повесть О. Голдсмита.]

В полночь. Нынешний вечер провел я очень приятно. В шесть часов пошли мы с г. Мелли в загородный сад. Там было множество людей: и студентов, и филистров. [107 - Так студенты называют граждан, и господину Аделунгу угодно почитать это слово за испорченное, вышедшее из латинского слова *Valistarii*. Сим именем назывались городские солдаты и простые граждане.] Одни, сидя под тенью дерев, читали или держали перед собою книги, не удостоивая проходящих взора своего; другие, сидя в кругу, курили трубки и защищались от солнечных лучей густыми табачными облаками, которые извивались и клубились над их головами; иные в темных аллеях гуляли с дамами, и проч. Музыка гремела, и человек, ходя с тарелкою, собирал деньги для музыкантов; всякий давал что хотел.

Господин Мелли удивил меня, начав говорить со мною по-русски. «Я жил четыре года в Москве, – сказал он, – и хотя уже давно выехал из России, однако ж не забыл еще вашего языка». – К нам присоединились гг. Шнейдер и Годи, путешествующие с княгинею Белосельскою, которая теперь в

Лейпциге. Первого видал я в Москве, и мы обрадовались друг другу, как старинные знакомые. Господин Мелли угостил нас в трактире хорошим ужином. Мы пробыли тут до полуночи и вместе пошли назад в город. Ворота были заперты, и каждый из нас заплатил по несколько копеек за то, что их отворили. Таков закон в Лейпциге: или возвращайся в город ранее, или плати штраф.

*Июля 19*

Ныне получил я вдруг два письма от А\*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель и хочет, чтобы я дождался его или в Мангейме, или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания. Таким образом разрушилось то здание приятностей и удовольствий, которое основывал я на свидании с любезным другом! И таким образом во всем своем путешествии не увижу ни одного человека, близкого к моему сердцу! Эта мысль сделала меня печальным, и я пошел без цели бродить по городу и по окрестностям. Мне встретился г. Бр., молодой ученый, с которым я здесь познакомился. Оба вместе пошли мы в Розенталь, большой парк. Я вспомнил, что известный обманщик Шрепфер кончил тут жизнь свою пистолетным выстрелом. Кто не хотел бы знать его подлинной таинственной истории? Сей человек долгое время был слугою в одном кофейном доме в Лейпциге, и никто не примечал в нем ничего чрезвычайного. Вдруг он скрылся и через несколько лет опять явился в Лейпциге под именем барона Шрепфера, нанял себе большой дом и множество слуг; объявил себя мудрецом, повелевающим натурою и духами, и в громкую трубу звал к себе всех легковерных людей, обещая им золотые горы. Со всех сторон стекались к нему ученики. Иные подлинно хотели от него научиться тому, чему ни в каких университетах не учат; а другим более всего нравился его хороший стол. С почты приносили ему большие пакеты, надписанные на имя барона Шрепфера, а банкиры, получая вексели, давали ему большие суммы денег. С разительным красноречием говорил он о своих таинствах, будто бы в Италии ему сообщенных, и, разгорячив воображение слушателей, показывал им духов, тени умерших знакомых и проч. «Прииди и виждь!» – кричал он всем, которые сомневались, – приходили и видели тени и разные страхи, от которых у трусливых людей волосы дыбом становились. Надобно заметить, что круг ревностных его почитателей состоял не из ученых, то есть не из тех, которые привыкли рассуждать по логике (сих людей не мог он терпеть, как таких, которые верят разуму более, нежели глазам), а из дворян и купцов, совсем незнакомых с науками. Заметить надобно и то, что он только показывал чудеса, а никого в самом деле не научал делать их; и что он показывал их только у себя дома, в некоторых, особливо на то определенных комнатах. Господин Бр. рассказал мне следующий анекдот. Некто М\* пришел к Шрепферу с своим приятелем, для того чтобы видеть его духопризывание. Он нашел у него множество гостей,

которым беспрестанно подносили пунш. М\* не хотел пить. Шрепфер приступал к нему, чтобы он выпил хоть один стакан; но М\* отговорился. Потом ввели всех в большую залу, обитую черным сукном и в которой окна были затворены. Шрепфер поставил всех зрителей вместе, очертил их кругом и не велел никому трогаться с места. Шагах в трех от них на маленьком жертвеннике горел спирт, чем единственно освещалась зала. Перед сим жертвенником Шрепфер, обнажив грудь свою и взяв в руку большой блестящий меч, бросился на колени и громко начал молиться, с таким жаром, с таким рвением, что М\*, пришедший видеть обманщика и обман, почувствовал трепет и благоговение в своем сердце. Огонь блистал в глазах молящегося, и грудь его высоко поднималась. Ему надлежало призвать тень одного известного человека, недавно умершего. По окончании молитвы он начал призывание сими словами: «О ты, блаженный дух, преселившийся в бесплотный и смертным неизвестный мир! Внемли гласу оставленных тобою друзей, желающих тебя видеть; внемли и, оставя на время новую свою обитель, явися очам их!» и проч., и проч. Зрители почувствовали электрическое потрясение в своих нервах, услышали удар, подобный громовому, и увидели над жертвенником легкий пар, который мало-помалу густел и наконец образовал человеческую фигуру; однако ж М\* не заметил в ней большого сходства с покойником. Образ носился над жертвенником, а Шрепфер, который сделался бледен, как смерть, махал мечом вокруг головы своей. М\* решился выйти из круга и приблизиться к Шрепферу; но сей, заметив его движение, вскочил, бросился на него и, устремив меч к его сердцу, закричал страшным голосом: «Ты умрешь, несчастный, если хотя один шаг вперед ступишь!» У М\* подкосились ноги: так он испугался грозного голоса и блестящего меча его! Тень исчезла. Шрепфер от усталости растянулся на полу и велел выйти всем зрителям в другую комнату, где подали им на блюдах свежие плоды. – Многие приходили к Шрепферу, как в спектакль, и хотя знали, что вся тайная мудрость его состояла в шарлатанстве, однако ж с удовольствием смотрели на важные комедии, им играемые. Все это продолжалось несколько времени. Но вдруг Шрепфер задолжал в Лейпциге многим купцам, и притом таким, которые, не имея никакого желания видеть его духов, требовали немедленного платежа. Векселей к нему уже не присылали, банкиры не давали ему ни гроша, и несчастный мудрец, доведенный до крайности, застрелился в Розентале. – По сие время неизвестно, откуда получал Шрепфер деньги и какую имел цель, выдавая себя за духопризывателя. По гипотезе ученых берлинцев, он был орудием тайных иезуитов (вместе с Калиостром, который в самом деле есть второй Шрепфер) – иезуитов, хотящих снова овладеть умами человеческими. Если это правда – в чем, однако ж, я очень, очень сомневаюсь, – то, с дозволения господ тайных иезуитов, можно сказать, что они напрасно льстятся ныне подчинить себе Европу посредством таких шарлатанов, тогда как законы разума всенародно возглашаются и просвещение более и более распространяется – просвещение, которого одна искра может осветить бездну заблуждений. – Вы скажете, может быть, что Шрепфер брал деньги с

обольщенных им людей? Но точно не известен ни один человек, с которого бы он брал их.

Сию минуту получил я записку от Платнера, в которой изъявляет он свое желание, чтобы я когда-нибудь пожил в Лейпциге долее и подал ему случай заслужить мою благодарность. – Профессор Бек, который очень обязал меня своею ласкою, взял на себя искать гофмейстера для П \*. Он будет писать ко мне в Цирих. – Простите, любезные друзья!

*Веймар, июля 20*

В путешествии своем от Лейпцига до Веймара не заметил я ничего, кроме прекрасной долины, на которой лежит город Наумбург, и маленькой деревеньки, где ребяташки набросали множество цветов к нам в коляску – к нам, говорю, потому что я ехал до Буттельштета с одним молодым французом, который был чем-то в свите французского посланника в Дрездене. Разумеется, что ребяташки хотели денег; мы бросили несколько грошей, и они громко закричали нам: «Спасибо!» – Француз, который не разумел ни одного слова по-немецки и которому я служил переводчиком, почти заплакал, когда нам пришлось расставаться. Впрочем, он был для меня совсем незанимателен.

На рассвете приехали мы в Буттельштет, где почтмейстер дал мне до Веймара маленькую колясочку. Я подарил постиллиону фарфоровую трубку, купленную мною на берлинской фабрике, а он из благодарности привез меня в Веймар довольно скоро.

Местоположение Веймара изрядно. Окрестные деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид. Город очень невелик, и, кроме герцогского дворца, не найдешь здесь ни одного огромного дома. – У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному сержанту свои вопросы, а именно: «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» – «Здесь, здесь, здесь», – отвечал он, – и я велел постиллиону везти себя в трактир «Слона».

Наемный слуга немедленно был отправлен мною к Виланду, спросить, дома ли он? – «Нет, он во дворце». – «Дома ли Гердер?» – «Нет, он во дворце». – «Дома ли Гете?» – «Нет, он во дворце».

«Во дворце! Во дворце!» – повторил я, передразнивая слугу, взял трость и пошел в сад. Большой зеленый луг, обсаженный деревьями и называемый звездою, мне очень понравился; но еще более понравились мне дикие, мрачные берега стремительно текущего ручья, под шумом которого, сев на мшистом камне, прочитал я первую книгу «Фингала». – Люди, которые встречались мне в саду, глядели на меня с таким любопытством, с каким не смотрят на людей в больших городах, где на всяком шагу встречаются незнакомые лица.

Узнав, что Гердер наконец дома, пошел я к нему. «У него одна мысль, – сказал о нем какой-то немецкий автор, – и сия мысль есть целый мир». Я читал его «Urkunde des menschlichen Geschlechts», [109 - «Документы рода человеческого» (нем.). – Ред.] читал, многого не понимал; но что понимал, то находил прекрасным. В каких картинах изображает он творение! Какое восточное великолепие! Я читал его «Бога», одно из новейших сочинений, в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный философ и ревностный читатель божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный. Гердер сообщает тут и свои мысли о божестве и творении, прекрасные, утешительные для человека мысли. Чтение сей маленькой книжки усладило несколько часов в моей жизни. Я выписал из нее многие места, которые мне отменно полюбились. Постойте – не найду ли чего-нибудь в записной книжке своей?.. Нашел одно место, которое, может быть, и вам полюбится, – и для того включу его в свое письмо. Автор говорит о смерти: «Взглянем на лилию в поле; она впивает в себя воздух, свет, все стихии – и соединяет их с существом своим, для того чтобы расти, накопить жизненного соку и расцвести; цветет и потом исчезает. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образы свои и размножить свое бытие. Теперь исчезло явление лилии; она истлела в неутомимом служении природы; готовилась к разрушению с начала жизни. Но что разрушилось в ней, кроме явления, которое не могло быть долее, которое, – достигнув до высочайшей степени, заключающей в себе вид и меру красоты ее, – назад обратилось? И не с тем, чтобы, лишась жизни, уступить место юнейшим живым явлениям, – сие было бы для нас весьма печальным символом, – нет! Напротив того, она, как живая, со всею радостью бытия произвела бытие их и в зародыше любезного вида предала его вечноцветущему саду времени, в котором и сама цветет. Ибо лилия не погибла с сим явлением; сила корня ее существует; она вновь пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дочерей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. Итак, нет смерти в творении; или смерть есть не что иное, как удаление того, что не может быть долее, то есть действие вечно юной, неутомимой силы, которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону премудрости и благости, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты – стремится и всякую минуту превращается». – Всем сочинения все ясно, и понятно, и согласно. Тут не бурнопламенное воображение юноши кружится на высотах и сверкает во мраке, подобно ночному метеору, блестящему и в минуту исчезающему, но мысль мудрого мужа, разумом освещаемая, тихо несется на легких крыльях веющего зефира – несется ко храму вечной истины и светлую струею свой путь означает. – Я читал еще его «Парамифии», [111 - То есть отдохновения. Сим именем называют еще и нынешние греки свои забавные краткие повести.] нежные произведения цветущей фантазии, которые дышат греческим духом и прекрасны, как утренняя роза.

Он встретил меня еще в снях и обошелся со мною так ласково, что я забыл в нем великого автора, а видел перед собою только любезного, приветливого человека. – Он расспрашивал меня о политическом состоянии России, но с отменной скромностью. Потом разговор обратился на литературу, и, слыша от меня, что я люблю немецких поэтов, спросил он, кого из них предпочитаю всем другим? Сей вопрос привел меня в затруднение. «Клопштока, – отвечал я запинаясь, – почитаю самым выспренным из певцов германских». – «И справедливо, – сказал Гердер, – только его читают менее, нежели других, и я знаю многих, которые в „Мессиаде“ на десятой песне остановились, с тем чтоб уже никогда не приниматься за эту славную поэму». – Он хвалил Виланда, а особливо Гете – и, велел маленькому своему сыну принести новое издание его сочинений,[112 - ...новое издание его сочинений... – Имеется в виду восьмитомное издание сочинений Гете, которое начало выходить в Лейпциге в 1787 г. («гешеновское»)] читал мне с живостью некоторые из его прекрасных мелких стихотворений. Особливо нравится ему маленькая пьеса, под именем «Meine G?ttin»,[113 - Моя богиня (нем.). – Ред.] которая так начинается:

Welcher Unsterblichen  
Soll der h?chste Preis seyn?  
Mit niemand streit'ich,  
Aber ich geb'ihn  
Der ewig beweglichen,  
Immer neuen  
Seltsamsten Tochter Jovis,  
Seinem Schooskinde,

Der Phantasie,[114 - Какую бессмертную Венчать предпочтительно Пред всеми богинями Олимпа надзвездного? Не спору с питомцами Разборчивой мудрости, Учеными строгими; // Но свежей гирляндою Венчаю веселую, Крылатую, милую, Всегда разнообразную, Всегда животворную, Любимицу Зевсову, Богиню Фантазию. // (Перевод с немецкого В. А. Жуковского. – Ред.)] и проч.

«Это совершенно по-гречески, – сказал он, – и какой язык! Какая чистота! Какая легкость!» – Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобным языком; и потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне немцы свою литературу. Гомер у них Гомер; та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим баранам. – Гердер – любезный человек, друзья мои. Я простился с ним до завтрашнего дня.

В церковь св. Якова надобно было зайти для того, чтобы видеть там на стене барельеф покойного профессора Музеуса, сочинителя

«Физиогномического путешествия» и «Немецких народных сказок». Под барельефом стоит на книге урна с надписью: «Незабвенному Музеусу». – Чувствительная Амалия! [115 - Герцогиня Веймарская, мать владеющего герцога.] Потомство будет благодарить тебя за то, что ты умела чтить дарования.

*Июля 21*

Вчера два раза был я у Виланда, и два раза сказали мне, что его нет дома. Ныне пришел к нему в восемь часов утра и увидел его. Вообразите себе человека довольно высокого, тонкого, долголицего, рябоватого, белокурого, почти безволосого, у которого глаза были некогда серые, но от чтения стали красные – таков Виланд. «Желание видеть вас привело меня в Веймар», – сказал я. «Это не стоило труда!» – отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда. Потом спросил он, как я, живучи в Москве, научился говорить по-немецки? Отвечая, что мне был случай говорить с немцами, и притом с такими, которые хорошо знают свой язык, упомянул я о Л\*\*\*. [116 - Л\*\*\* – Якоб Ленц.] Тут разговор обратился на сего несчастного человека, который некогда был ему очень знаком. Между тем мы всё стояли, из чего и надлежало мне заключить, что он не намерен удерживать меня долго в своем кабинете. «Конечно, я пришел не вовремя?» – спросил я. – «Нет, – отвечал он, – впрочем, поутру мы обыкновенно чем-нибудь занимаемся». – «Итак, позвольте мне прийти в другое время; назначьте только час. Еще повторяю вам, что я приехал в Веймар единственно для того, чтобы вас видеть». Виланд. Чего вы от меня хотите? – Я. Ваши сочинения заставили меня любить вас и возбудили во мне желание узнать автора лично. Я ничего не хочу от вас, кроме того, чтобы вы позволили мне видеть себя. – В. Вы приводите меня в замешательство. Сказать ли вам искренно? – Я. Скажите. – В. Я не люблю новых знакомств, а особливо с такими людьми, которые мне ни по чему не известны. Я вас не знаю. – Я. Правда; но чего вам опасаться? – В. Ныне в Германии вошло в моду путешествовать и описывать путешествия. Многие переезжают из города в город и стараются говорить с известными людьми только для того, чтобы после все слышанное от них напечатать. Что сказано было между четырех глаз, то выдается в публику. Я на себя не надежен; иногда могу быть слишком откровенен. – Я. Вспомните, что я не немец и не могу писать для немецкой публики. К тому же вы могли бы обязать меня словом честного человека. – В. Но какая польза нам знакомиться? Положим, что мы сойдемся образом мыслей и чувств; да наконец не надобно ли будет нам расстаться? Ведь вы здесь не будете жить? – Я. Для того чтобы иметь удовольствие вас видеть, могу остаться в Веймаре дней десять и, расставшись с вами, радовался бы тому, что узнал Виланда – узнал как отца среди семейства и как друга среди друзей. – В. Вы очень искренны. Теперь мне должно вас остерегаться, чтобы вы с этой стороны не заметили во мне чего-нибудь

дурного. – Я. Вы шутите. – В. Нимало. Сверх того, мне бы совестно было, если бы вы точно для меня остались здесь жить. Может быть, в другом немецком городе, например, в Готе, было бы вам веселее. – Я. Вы – поэт, а я люблю поэзию; как бы приятно для меня было, если бы вы позволили мне хотя час провести с вами в разговоре о пленительных красотах ее? – В. Я не знаю, как мне говорить с вами. Может быть, вы учитель мой в поэзии. – Я. О! Много чести. Итак, мне остается проститься с вами в первый и в последний раз. – В. (*посмотрев на меня и с улыбкою*). Я не физиогномист; однако ж вид ваш заставляет меня иметь к вам некоторую доверенность. Мне нравится ваша искренность; иявижу еще первого русского такого, как вы. Я видел вашего Ш\*, острого человека, напитанного духом этого старика (*указывая на бюст Вольтеров*). Обыкновенно ваши единосемцы стараются подражать французам; а вы... – Я. Благодарю. – В. Итак, если вам угодно провести со мною часа два-три, то приходите ко мне ныне после обеда, в половине третьего. – Я. Вы хотите быть только снисходительны! – В. Хочу иметь удовольствие быть с вами, говорю я, и прошу вас не думать, чтобы вы одни на свете были искренны. – Я. Простите. – В. В третьем часу вас ожидаю. – Я. Буду. – Простите!

Вот вам подробное описание нашего разговора, который сперва зацепил заживо мое самолюбие. Окончание успокоило меня несколько; однако ж я все еще в волнении пришел от Виланда к Гердеру и решился на другой день ехать из Веймара.

Гердер принял меня с такой же кроткою ласкою, как вчера, – с такою же приветливою улыбкою и с таким же видом искренности.

Мы говорили об Италии, откуда он недавно возвратился и где остатки древнего искусства были достойным предметом его любопытства. Вдруг пришло мне на мысль: что, если бы я из Швейцарии пробрался в Италию и взглянул на Медическую Венеру, Бельведерского Аполлона, Фарнезского Геркулеса, Олимпийского Юпитера – взглянул бы на величественные развалины древнего Рима и вздохнул бы о тленности всего подлунного? А сия мысль сделала то, что я на минуту совсем забылся.

Я признался Гердеру, обратив разговор на его сочинения, что «Die Urkunde des menschlichen Geschlechts» казалась мне по большей части непонятною. «Эту книгу сочинял я в молодости, – отвечал он, – когда воображение мое было во всей своей бурной стремительности и когда оно еще не давало разуму отчета в путях своих». – «Дух ваш, – сказал я, прощаясь с ним, – известен мне по вашим творениям; но мне хотелось иметь ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам – теперь видел вас и доволен».

Гердер невысокого роста, посредственной толщины и лицом очень не бел. Лоб и глаза его показывают необыкновенный ум (но я боюсь, чтобы вы, друзья мои, не почли меня каким-нибудь физиогномическим колдуном). Вид его важен и привлекателен; в mine его нет ничего принужденного, ничего такого, что бы показывало желание казаться чем-нибудь. Он говорит тихо и внятно; дает вес словам своим, но не излишний. Едва ли по разговору его

можно подозревать в Гердере скромного любимца муз; но великий ученый и глубокомысленный метафизик скрыт в нем весьма искусно.

Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь, мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума, вспоминая вид и голос автора.

В 9 часов вечера. Я пришел к Виланду в назначенное время. Маленькие прекрасные дети его окружили меня на крыльце. «Батюшка вас дожидается», – сказал один. – «Подите к нему», – сказали двое вместе. – «Мы вас проводим», – сказал четвертый. Я их всех перецеловал и пошел к их батюшке.

«Простите, – сказал, вошедши к нему, – простите, если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостью того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями». – «Вы не имеете нужды извиняться, – отвечал он, – я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает». – Тут сели мы на канapé. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее. Говоря о любви своей к поэзии, сказал он: «Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, то я написал бы все то же и с тем же старанием выработывал бы свои произведения, думая, что музы слушают мои песни». Он желал знать, пишу ли я? И не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий? Я сыскал в записной своей книжке перевод «Печальной весны». Прочитав его, сказал он: «Жалею, если вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, – потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче, – скажите, что у вас в виду?» – «Тихая жизнь, – отвечал я. – Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им». – «Кто любит муз и любим ими, – сказал Виланд, – тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым».

Разговор наш касался и до философов. – «Никто из систематиков, – сказал Виланд, – не умеет так обольщать своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение. Он пишет ясно, приятно и заставляет любить себя и философию свою». – О Канте говорит Виланд с почтением; но, кажется, не ломает головы над его метафизикою. Он показывал мне новое сочинение своего зятя, профессора Реингольда, под титулом «*Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens*», [118 - «Опыт новой теории человеческой способности представлений» (нем.). – Ред.] которое только что отпечатано и которое должно объяснить Кантову метафизику. «Прочтите его, – сказал он мне, – если вы читаете книги такого рода». – «Ваш „Агатон“ или „Оберрон“

для меня приятнее, – отвечал я, – однако ж иногда из любопытства заглядываю и в область философии». – «А разве „Агатон“ не есть философическая книга? – сказал он. – В нем решены самые важнейшие вопросы философии». – «Правда, – сказал я, – итак, прошу извинить меня».

---

С любезною искренностью открывал мне Виланд мысли свои о некоторых важнейших для человечества предметах. Он ничего не отвергает, но только полагает различие между чаянием и уверением. Его можно назвать скептиком, но только в хорошем значении сего слова.

Ему, казалось, приятно было слышать от меня, что некоторые из важнейших его сочинений переведены на русский. «Но каков перевод?» – спросил он. – «Не может нравиться тем, которые знают оригинал», – отвечал я. – «Такова моя участь, – сказал он, – и французские, и английские переводчики меня обезобразили».

В шесть часов я встал. Он взял мою руку и сказал, что от всего сердца желает мне счастья в жизни. «Вы видели меня таковым, каков я подлинно, – примолвил он. – Простите и хотя изредка уведомляйте меня о себе. Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были. Простите!» – Тут мы обнялись. Мне казалось, что он был несколько тронут; а это самого меня тронуло. На крыльце мы в последний раз пожали друг у друга руки и расстались – может быть, навечно. Никогда, никогда не забуду Виланда! Если бы вы видели, друзья мои, с какою откровенностью, с каким жаром говорит сей почти шестидесятилетний человек и как все черты лица его оживляются в разговоре! Душа его еще не состарилась, и силы ее не истощились. «Клелія и Синибальд», последняя из его поэм, писана с такою же полнотою духа, как «Оберрон», как «Музарион» и проч. Кажется еще, что он в последних своих творениях ближе и ближе к совершенству подходит. Тридцать пять лет известен Виланд в Германии как автор. Самые первые его сочинения, например «Нравоучительные повести», «Симпатии» и проч., обратили на него внимание публики. Хотя строгая критика, которая тогда уже начиналась в Германии, и находила в них много недостатков, однако ж отдавала автору справедливость в том, что он имеет изобретательную силу, богатое воображение и живое чувство. Но эпоха славы его началась с «Комических повестей», признанных в своем роде превосходными и на немецком языке тогда единственными. Удивлялись его остроте, вкусу, красоте языка, искусству в повествовании. Потом издавал он поэму за поэмою, и последняя всегда казалась лучшею. Давно уже Германия признала его одним из первых своих певцов; он покоится на лаврах своих, но не засыпает. Если французы оставили наконец свое старое худое мнение о немецкой литературе (которое некогда она в самом деле заслуживала, то есть тогда, как немцы прилежали только к сухой учености), – если знающие и справедливейшие из них соглашаются, что немцы не только во многом сравнялись с ними, но во многом и превзошли их, то, конечно, произвели это отчасти Виландовы сочинения, хотя и нехорошо на французский язык переведенные.

Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего в окно, – остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо! Ныне заходил к нему; но мне сказали, что он рано уехал в Йену. – В Веймаре есть еще и другие известные писатели: Бертух, Боде и проч. Бертух перевел с гишпанского «Дон-Кишота» и выдавал «Магазин гишпанской и португальской литературы»; а Боде славится переводом Стернова «Путешествия» и «Тристрама Шанди». Герцогиня Амалия любила дарования. Она призвала к своему двору Виланда и поручила ему воспитание молодого герцога; она призвала Гете, когда он прославился своим «Вертером»; она же призвала и Гердера в начальники здешнего духовенства.

Простите, друзья мои! Ясная ночь вызывает меня из комнаты. Беру свой страннический посох – иду смотреть на засыпающую природу и странствовать глазами по звездному небу.

*Веймар, июля 22*

Мне рассказывали здесь разные анекдоты о нашем Л\*. Он приехал сюда для Гете, друга своего, который вместе с ним учился в Стразбурге и был тогда уже при веймарском дворе. Его приняли очень хорошо, как человека с дарованиями; но скоро заметили в нем великие странности. Например, однажды явился он на придворный бал в домине, в маске и в шляпе и в ту минуту, как все обратили на него глаза и ахнули от удивления, спокойно подошел к знатнейшей даме и звал ее танцевать с собою. Молодой герцог любил фарсы и рад был сему забавному явлению, которое доставило ему удовольствие смеяться от всего сердца; но чиновные господа и госпожи, составляющие веймарский двор, думали, что дерзостному Л\* надлежало за то по крайней мере отрубить голову. – С самого своего приезда Л\* объявил себя влюбленным во всех молодых, хороших женщин и для каждой из них сочинял любовные песни. Молодая герцогиня печалилась тогда о кончине сестры своей; он написал ей на сей случай прекрасные стихи, но не преминул в них уподобить себя Иксиону, дерзнувшему влюбиться в Юпитерову супругу. – Однажды он встретился с герцогинею за городом и, вместо того чтобы поклониться ей, упал на колени, поднял вверх руки и таким образом дал ей мимо себя проехать. На другой день Л\* всем знакомым разослал по бумажке, на которой нарисована была герцогиня и он сам, стоящий на коленях с поднятыми вверх руками. – Но ни поэзия, ни любовь не могли занять его совершенно. Он мог еще думать о реформе, которую, по его мнению, надлежало сделать в войске его светлости, и для того подавал герцогу разные планы, писанные на больших листах. – За всем тем его терпели в Веймаре, а дамы находили приятным. Но Гете наконец с ним поссорился и принудил его выехать из Веймара. Одна дама взяла его с собою в деревню, где несколько дней читал он ей Шекспира, и потом отправился странствовать по белу свету. —

*Эрфурт, 22 июля*

В два часа приехал я сюда из Веймара, остановился в трактире (которого имени, право, не знаю); выпил чашку кофе, пошел на так называемую Петрову гору в бенедиктинский монастырь и просил там первого встретившегося мне отца указать то место, где погребен граф Глейхен. Толстый отец (NB: монастырь очень богат) охриплым голосом сказал мне, чтобы я шел к отцу церковнику. Мне надлежало идти через длинные сени или коридор, где в печальном сумраке представились глазам моим распятия и лампы угасающие. Вожатый оставил меня в коридоре и пошел искать отца церковника. Трудно описать, что чувствовал я, прохаживаясь один, в глубокой тишине, по сему темному коридору и смотря на лампы и на старые картины, на которых изображены были разные страшные сцены. Мне казалось, что я пришел в мрачное жилище фанатизма. Воображение мое представило мне сие чудовище во всей его гнусности, с поднявшимися от ярости волосами, с клубящеюся у рта пеною, с пламенными, бешеными глазами и с кинжалом в руке, прямо на сердце мое устремленным. Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам. Из глубины прошедших веков загремели в мой слух адские заклинания; но, к счастью, в самую сию минуту пришел мой вожатый, и фантомы моего воображения исчезли. «Отец церковник, – сказал он, – вместе с другими отцами сидит за вечернею трапезою». – «Да не можешь ли ты сам показать мне гроб Глейхена?» – спросил я. «Могу, – отвечал он, – если вы только его хотите видеть». – Вошедши в церковь, поднял он две широкие скованные доски, и я увидел большой камень. – Выслушайте историю.

Когда святая ревность выгнать неверных из земли обетованной заразила всю Европу и благочестивые рыцари, крестом ознаменованные, устремились к Востоку, тогда Глейхен, имперский граф, оставил свое отечество и с верною дружиною направил путь свой к странам азиатским. Не буду описывать вам великих дел его мужества. Скажу только, что самые храбрейшие рыцари христианства удивлялись его подвигам. Но небесам угодно было искусить несчастием веру героя – граф Глейхен попался в плен к неверным и стал невольником знатного магометанца, который велел ему смотреть за своим садом. Граф, несчастный граф поливал цветы и стенал в тяжком рабстве. Но тщетны были бы все его стенания и все обеты, если бы прекрасная сарацинка, милая дочь господина его, не обратила взоров нежной любви на злосчастного героя. Часто в густых тенях вечера внимала она жалобным песням его; часто видела невольника, молящегося со слезами, и сама слезы проливала. Робкая стыдливость долгое время не допускала ее изъясниться и сказать ему, что она берет участие в его печали. Наконец искра воспылала – стыдливость исчезла – любовь не могла уже таиться в сердце и огненною рекою излилась из уст ее в душу изумленного графа. Ангельская невинность ее, цветущая красота и способ разорвать цепь неволи не дали ему вспомнить, что у него была супруга. Он клялся сарацинке вечно любить ее,

если она согласится оставить своего отца, отечество и бежать с ним в страны христианские. Но она уже не помнила ни отца, ни отечества – граф был для нее все. Прекрасная летит, приносит ключ, отпирает дверь в поле – летит с своим возлюбленным, и тихая ночь, одев их мрачным своим покрывалом, благоприятствует их побегу. Счастливо достигают они до отечества графского. Подданные лобызают своего государя и отца, которого считали они погибшим, и с любопытством смотрят на его статную спутницу, покрытую флером. При входе во дворец графиня бросается в его объятия. «Ты опять меня видишь, любезная супруга! – говорит граф. – Благодарю ее (указывая на свою избавительницу), – она все для меня оставила. Ах! я клялся любить ее!» – Граф хочет рукою закрыть текущие слезы свои. Сарацинка открывает свое лицо, бросается на колени перед графинею и, рыдая, говорит: «Я теперь раба твоя!» – «Ты сестра моя, – отвечает графиня, подымая и целуя сарацинку, – супруг мой будет твоим супругом; разделю сердце его». Граф удивляется великодушию супруги – прижимает ее к своему сердцу – все обнимаются и клянутся любить друг друга до гроба. Небеса благословили сей тройственный союз, и сам папа утвердил его. Мир и счастье обитали в графском доме, и верные супруги были погребены вместе – в Эрфурте, в церкви бенедиктинского монастыря – и покрыты одним большим камнем, на котором рука усердного художника вырезала их изображения. Я видел сей большой камень и благословил память супругов.

Взглянув с Петровой горы на город и окрестности, пошел я в сиротский дом и видел там келью, в которой Мартин Лютер жил от 1505 до 1512 года. На стенах сей маленькой, темной горницы написана его история. На столике лежит немецкая Библия первого издания, которую употреблял сам Лютер и в которой все белые страницы исписаны его рукою. «Можно ли, – думал я, – чтобы простой монах, живший во мраке этой кельи, сделал не только великую реформу в римской церкви, вопреки императору и папе, но и великую нравственную революцию в свете!» – Вышедши из кельи, увидел я в коридоре множество странных картин. На одной изображен император, к которому смерть в виде скелета подходит и докладывает с низким поклоном, что ему пора сложить с себя земное величие и отправиться на тот свет. На другой представлена актриса, а позади ее смерть в царском одеянии, поднимающая кинжал с маскою. На третьей изображены содержатель типографии в штофном халате и в большом парике, помощник его и смерть, хотящая подкосить ноги первого; а внизу подписано, что и содержатели типографий умереть должны! И проч., и проч.

*Гота, 23 июля в полночь*

Я приехал сюда в одиннадцать часов утра и остановился в трактире «Колокольчика». Сильная головная боль заставила меня пролежать весь день. Вечеру я встал, ходил по городу и видел перед дворцом иллюминацию и

фейерверк, которым готский герцог веселил маленького веймарского принца, приехавшего к нему в гости.

*Франкфурт-на-Майне, июля 28*

Вчера, милые друзья мои, приехал я во Франкфурт. Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать (я ехал на ординарной почте) – или по крайней мере стоять по нескольку часов. Дороги везде прескверные, так что надобно ехать всё шагом, и даже самые улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно. Правда, я сидел в коляске очень просторно, то есть почти всё один; но чрезмерно тихая езда и остановки были для меня несносны. К тому же почти ничего любопытного не встречалось глазам моим, и я сомневаюсь, чтобы сам Йорик нашел тут много занимательного для своего сердца.

Только дикие окрестности Эйзенаха произвели во мне некоторые приятные чувства, напомнив мне первобытную дикость всей природы. Еще заметил я замок Вартбург, который лежит на горе, недалеко от Эйзенаха, и в котором после Вормсского сейма содержан был Мартин Лютер. Тут возвышаются два камня, в которых воображение находит нечто похожее на человеческие фигуры и о которых, по старому преданию, рассказывается следующая сказка.

Молодой монах влюбился в молодую монахиню. Тщетно сражался он с своею любовию; напрасно хотел умерщвлять плоть свою постом и трудами! Кровь его кипела и волновалась. Образ нежной монахини всегда присутствовал в душе его. Он хотел молиться; но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: «Люблю! Люблю! Люблю!» Часто ходил он в тот монастырь, где заключена была прекрасная; часто, смотря на нее, лил пламенные слезы и видел огненный румянец на лице своей возлюбленной, видел симпатические слезы в глазах ее. Сердца их разумели друг друга, страшились своих чувств и – питали их. Наконец молодой монах трепещущею рукою вручил своей любезной следующее письмо: «Милая сестра! Недалеко от монастырских ворот, в правую сторону, возвышается крутая гора. Я буду там при наступлении ночи. Или ты, прекрасная, будешь там же, или я свергнусь с высокого утеса и умру временною и вечною смертью». Сердце ее затрепетало. «Мне видеть его, – думает она, – мне видеть его за стеною монастырскою и быть с ним одной в тишине ночи? Но я должна спасти его от страшного греха самоубийства». – Она находит способ выйти ночью из монастыря – идет во мрак и страшится всякого шороха – всходит на гору и вдруг чувствует себя в объятиях своего страстного обожателя. Они забывают все, трепещут в восторге – но вдруг кровь их хладеет, немеют члены, сердца перестают биться, и небесный гнев превращает их в два камня. «Вы видите их», – сказал мне постиллион, указывая на верх горы. – Из сей народной сказки сочинил Виланд

прекрасную поэму, под титулом: «Der Monch und die Nonne».[121 - «Монах и монахиня» (нем.). – Ред.]

Проезжая через маленькое местечко близ Гиршфельда, постиллион мой остановился у дверей одного дома. Я счел этот дом трактиром, вошел в него и первому человеку, который встретил меня с низким поклоном, велел принести бутылку воды и рейнвейна, сел на стул и не думал снимать своей шляпы. В комнате было еще человека три, которые с великою учтивостию начинали говорить со мною. Принесли рейнвейн. Я пил, хвалил вино и наконец спросил, что надобно заплатить за него? – «Ничего, – отвечали мне с поклоном, – вы не в трактире, а в гостях у честного мещанина, который очень рад тому, что вам понравился его рейнвейн». Вообразите мое удивление! Я схватил с себя шляпу и стал извиняться. «Ничего! Ничего! – сказал мне хозяин. – Только прошу вас быть благосклонным к моей дочери, которая поедет с вами в коляске». – «Буду почтителен и все, что вам угодно», – отвечал я. Пришла дочь его, девушка лет в двадцать, изрядная собою, в зеленом суконном сертуке и в черной шляпе. Мы рекомендовались друг другу и сели в коляске рядом. Каролина (так называлась девушка) сказала мне, что она едет в деревню к своей тетке. Я не хотел беспокоить ее никакими дальнейшими вопросами, вынул из кармана своего «Vicar of Wakefield» и начал читать. Сопутница моя стала зевать, жмуриться, дремать, и наконец голова ее упала ко мне на плечо. Я не смел тронуться, чтобы не разбудить ее; но вдруг нас так тряхнуло, что она отлетела от меня в другой угол коляски. Я предложил ей большую свою подушку. Она взяла ее, положила себе под голову и опять заснула. Между тем смерклось, и наступила ночь. Каролина спала крепким сном и не просыпалась до самого того места, где надлежало нам с нею расстаться. Что принадлежит до меня, то я вел себя так честно, как целомудренный рыцарь, боящийся одним нескромным взором оскорбить стыдливость вверенной ему невинности. Редки такие примеры в нынешнем свете, друзья мои, редки! Каролина, по своей невинности, не думала благодарить меня за мою воздержность и простилась со мною очень сухо. Бог с нею!

Нигде во всю дорогу не было мне так грустно, как в Гиршфельде. Я приехал туда в пять часов вечера и должен быть пробить там до полуночи. Город не представлял мне ничего любопытного, я не знал, что делать. Читать не мог – писать тоже, хотя почтмейстерша, по моему требованию, и принесла мне целую тетрадь бумаги. Сидя подгорюнившись, думал я о друзьях отдаленных, чувствовал сиротство свое и грустил.

Сюда приехал я ночью в дождь и остановился в трактире «Звезды», где отвели мне хорошую комнату.

*Франкфурт, 29 июля*

Ненастье продолжается. Сажу в своей горнице под растворенным окном, и хотя косой дождь мочит меня и разливает дрожь по моей

внутренности, однако ж каменная русская грудь не боится простуды, и питомец железного севера смеется над слабым усилием маинских бурь.

Но такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? Более и более удаляясь от севера, радовался я мыслию, что оставляю за собою холод и сырость, все сердитое, жестокое и угрюмое в натуре. «Там, где течет Маин и Рейн, – думал я, – там небо чисто, дни красны, и одни зефиры струят воздух; там цветущая природа ликует в ярком свете лучей солнечных». Но – приезжаю и нахожу пасмурную осень середи лета. Только я намерен переупрямить погоду; и клянусь титанами и страшным Стиксом, что не выведу из Франкфурта, не дождавшись ясных дней.

Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего банкира. Мы говорили с ним о новых парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А\* (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такие сцены?

Не воображайте, чтобы мне скучно было сидеть в своей горнице. Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее «Фиеско», Шиллерову трагедию, и читал ее с великим удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размышляет, лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, оказанные им отечеству, не требовать никакой награды, кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был упасть перед ним на колени и воскликнуть: «Избери первое!» Какая сила в чувствах! Какая живопись в языке! Вообще «Фиеско» тронул меня более, нежели «Дон-Карлос», хотя сего последнего видел я на театре и хотя критика отдает ему преимущество. – Ныне читал я также с великим удовольствием Ифландовы драмы, которые можно назвать прекрасными семейственными картинами и которые, верно, полюбились бы нашей публике, если бы искусный человек обработал их для русского театра.

В одном трактире со мною живет молодой доктор медицины, который вчера пришел ко мне пить чай и просидел у меня весь вечер. По его мнению, все зло в мире происходит оттого, что люди не берегут своего желудка. «Испорченный желудок, – сказал он, – бывает источником не только всех болезней, но и всех пороков, всех дурных навыков, всех злых дел. Отчего моралисты так мало исправляют людей? Оттого, что они считают их здоровыми и говорят с ними как со здоровыми, тогда как они больны и когда бы, вместо всех словесных убеждений, надлежало им дать несколько приемов очистительного. Беспорядок душевный бывает всегда следствием телесного беспорядка. Когда в машине нашей находится все в совершенном равновесии, когда все сосуды действуют и отделяют исправно разные жидкости, одним словом, когда всякая часть отправляет ту должность, которую поручила ей натура, тогда и душа бывает здорова; тогда человек рассуждает и действует хорошо; тогда бывает он мудр, и добродетелен, и весел, и счастлив». – «Итак, если бы у Калигулы не был испорчен желудок, то он не вздумал бы построить моста на Средиземном море?» – спросил я.

«Без сомнения, – отвечал мой доктор, – и если бы лекарь его догадался дать ему несколько очистительных пилюль, то смешное предприятие было бы через час оставлено. Отчего в златом веке были люди и добры, и счастливы? Конечно, оттого, что они, питаясь только растениями и молоком, никогда не обременяли и не засоряли своего желудка. Наконец, скажу вам, что если бы я был государем, то велел бы всех преступников вместо наказания отсылать в больницы и лечить до того, пока они сделались бы добрыми людьми и полезными гражданами. Со временем предложу публике свои мнения и доказательства, которые, может быть, сделают революцию в философии. Тогда вспомните, государь мой, что вы от меня слышали». – Я удивлялся логике господина доктора.

*Июля 30*

Наконец франкфуртское небо перестало хмурить брови и прояснилось. Пользуясь хорошим временем, ходил я так много, что теперь чувствую боль в ногах.

Трактирщик мой водил меня по здешним садам. В одном из них встретились мы с хозяином, почтенным стариком и, как сказывают, очень богатым человеком. Узнав от моего жогаго, что я путешествующий иностранец, он взял меня за руку и сказал: «Я сам покажу вам все то, что можно назвать изрядным в моем саду. Какова эта темная аллея?» – «В жаркое время тут хорошо прохладиться», – отвечал я. – «А эта маленькая беседка под ветвями каштановых дерев?» – «Тут прекрасно сидеть ввечеру, когда луна покажется на небе и свет свой прольет сквозь развесистые ветви на эту бархатную зелень». – «А этот холмик?» – «Ах! Как бы я желал встретить тут восходящее солнце!» – «А этот маленький лесок?» – «Тут, верно, поют весною соловьи так спокойно и весело, как в самых диких местах природы, нимало не подозревая, чтобы сюда заманивало их искусство». – «Что вы скажете об этом домике?» – «Он построен на то, чтоб быть жилищем философа, любящего простоту, уединение и тишину». – «Теперь вам надобно согласиться выпить у меня чашку кофе». – Мы вошли в домик и сели на деревянных стульях вокруг маленького столика. Нам подали кофе. Я с удовольствием поблагодарил хозяина за его гостеприимство.

В ненастное время казалось мне, что Франкфурт пуст, а теперь кажется, что он очень многолюден, – оттого, что в дурную погоду сидели все дома, кроме тех, которым уже по крайней нужде надлежало корчиться под дождем и топтать ногами грязь на улицах, а теперь, обрадовавшись солнцу, все, как муравьи, ползут из своих нор.

По своей цветущей и обширной коммерции Франкфурт есть один из богатейших городов в Германии. Кроме некоторых дворянских фамилий, здесь поселившихся, всякий житель – купец, то есть производит какой-нибудь торг. На всякой улице множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки трудолюбия, промышленности,[124 - Это слово сделалось ныне

обыкновенным: автор употребил его первый.] избытка. Ни один нищий не подходил ко мне на улице просить милостыни.

Только нельзя назвать Франкфурта хорошо выстроенным городом. Дома почти все старинные и расписаны разными красками, что для глаз весьма странно.

Еще скажу то, что здесь в трактирах стол очень дешев. Мне приносят всегда пять хорошо приготовленных блюд и еще десерт, на двух или трех тарелках, и за это плачу не более 50 копеек. Вино также очень дешево. Бутылка молодого рейнвейна стоит 10 копеек, а старого – 40. —

После обеда, когда солнце укротило жар лучей своих, вышел я за город. Сады, сельские домики, луга и винограды представились глазам моим. Сколько ландшафтов, достойных кисти Салватора Розы или Пуссеневои!

Уединенный домик с садиком, недалеко от большой дороги, прельстил меня, и я пошел к нему по узенькой тропинке. Два мальчика, игравшие на траве, бросились ко мне навстречу; но, закричав: «Это не он! Это не Каспар!», побежали назад и скрылись в домик. Старое каштановое дерево призывало меня в свою тень – я сел под его ветвями. Минут через пять мальчики опять выбежали, а за ними вышла женщина лет в тридцать, приятная лицом, в белой кофточке и в соломенной шляпке. Она села на крыльце и смотрела с улыбкою на играющих мальчиков, с такою улыбкою, по которой легко было узнать, что она мать их. Они уговорились бегать взапуски; взявшись за руки, отошли от крыльца шагов тридцать, остановились, выставили вперед грудь и правую ногу и дожидались, чтобы мать подала им знак. Она махнула им платком, и они пустились, как из лука стрела. Большой опередил меньшого, прибежал к матери и, закричав: «Я первый!», бросился целовать ее. Меньшой прибежал и также кинулся к ней на шею. Любезная картина семейственного счастья! Может быть, в городе она бы меньше меня тронула, но среди сельских красот сердце наше живет чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья, влияющего благодетельным существом в сосуд жизни человеческой. – Прости, уединенный домик! Мир, тишина и покой да будут всегда наследственным добром твоих обитателей! А ты, ветвистое дерево! Долго, долго еще принимай странников в тень свою – и под кровом шумящих листьев твоих да веселятся они веселием невинности и добродетели!

*Франкфурт, июля 31*

Ныне ездил я в деревню Берген, которой имя очень известно: подле нее было в 1759 году, 13 апреля, кровопролитное сражение между французами и соединенною ганноверскою и гессенскою армиею; последнею командовал брауншвейгский принц Фердинанд, а первыми, которые остались победителями, маршал Брoльи.

В здешней ратуше, называемой Римлянином (Romer), показывают путешественникам ту залу, в которой обедает новоизбранный император и

где стоят портреты всех императоров, от Конрада I до Карла VI. Кто не пожалует червонца, тот там же в архиве может видеть и славную «Золотую буллу», или договор императора Карла IV с государственными чинами, написанный на сорока трех пергаментных листах и названный сим именем от золотой печати, висящей на черных и желтых шелковых снурках. На сей печати изображен император, сидящий на троне, а с другой стороны Римская крепость, или так называемый замок св. Ангела (il castello di S. Angelo), с словами aurea Roma (золотой Рим), которые расположены в трех линиях таким образом:

aur  
eag  
oma

Я был и в кафедральной церкви католиков, где по уставу майнцский архиепископ коронует избранного императора. Тут бросилась мне в глаза статуя Марии в белом кисейном платье. «Часто ли шьют ей обновы?» – спросил я у моего провожатого. – «Из году в год», – отвечал он. Хотя главная церковь в городе принадлежит католикам, однако ж господствующая религия во Франкфурте есть лютеранская, и католическому духовенству запрещено ходить в процессии по улицам. Здесь очень много и реформатов, большею частию французов, выгнанных из отечества Лудовиком XIV, но они не могут иметь участия в правлении города и даже не смеют всенародно отправлять свои богослужения в таком городе, где жида имеют синагогу. Такая нетерпимость, конечно, не служит к чести франкфуртского правительства.

Жидов считается здесь более 7000. Все они должны жить в одной улице, которая так нечиста, что нельзя идти по ней, не зажав носа. Жалко смотреть на сих несчастных людей, столь униженных между человеками! Платье их состоит по большей части из засаленных лоскутков, сквозь которые видно нагое тело. По воскресеньям, в тот час, когда начинается служба в христианских церквах, запирают их улицу, и бедные жида, как невольники, сидят в своей клетке до окончания службы; и на ночь запирают их таким же образом. Сверх сего принуждения, если случится в городе пожар, то они обязаны везти туда воду и тушить огонь.

Между франкфуртскими жидами есть и богатые, но сии богатые живут так же нечисто, как бедные. Я познакомился с одним из них, умным, знающим человеком. Он пригласил меня к себе и принял очень учтиво. Молодая жена его, родом французенка, говорит хорошо и по-французски, и по-немецки. С удовольствием провел я у них около двух часов, но только в сии два часа чего не вытерпело мое обоняние!

Мне хотелось видеть их синагогу. Я вошел в нее, как в мрачную пещеру, думая: «Бог Израилев, бог народа избранного! Здесь ли должно поклоняться тебе?» Слабо горели светильники в обремененном гнилостию воздухе. Уныние, горечь, страх изображались на лице молящихся; нигде не видно было умиления; слеза благодарной любви ничьей ланиты не орошала; ничей взор в благоговейном восхищении не обращался к небу. Я видел каких-то преступников, с трепетом ожидающих приговора к смерти и едва

дерзающих молить судью своего о помиловании. «Зачем вы пришли сюда? – сказал мне тот умный жид, у которого я был в гостях. – Пощадите нас! Наш храм был в Иерусалиме: там всевышний благоволил являться своим избранным. Но разрушен храм великолепный, и мы, рассеянные по лицу земли, приходим сюда сетовать о бедствии народа нашего. Оставьте нас; мы представляем для вас печальную картину». – Янемогответчать ему ни слова, пожал руку его и вышел вон.

Давно уже замечено, что общее бедствие соединяет людей теснейшим союзом. Таким образом, и жида, гонимые роком и угнетенные своими сочеловеками, находятся друг с другом в теснейшей связи, нежели мы, торжествующие христиане. Я хочу сказать, что в них видно более духа общности, нежели в другом народе. Жид, в раздранном рубище, пришел ко мне ныне поутру с разными безделками. У меня сидел доктор Н \*. «Не покупайте ничего у жидов, – сказал он мне, – из них редкий не обманщик». – «Неправда, государь мой! – отвечал с жаром израильтянин. – Мы не бесчестнее христиан». Сказал и с сердцем ушел из горницы. Вчера же зашел я к одному жиду для того, чтобы разменять несколько червонцев на французские талеры. На столе у него лежала развернутая книга: Мендельзонов «Иерусалим». «Мендельзон был великий человек», – сказал я, взяв книгу в руки. – «Вы знаете его? – спросил он у меня с веселою улыбкою. – Знаете и то, что он был одной нации со мной и носил такую же бороду, как я?» – «Знаю, – отвечал я, – знаю». Тут жид мой бросил на стол талеры и начал мне хвалить Мендельзона с жаром и восхищением и заключил свою хвалу повторением, что сей великий муж, сей Сократ и Платон наших времен, был жид, был жид! – Здешние актеры недавно представляли Шекспирову драму, «Венецианского купца». На другой день франкфуртские жида прислали сказать директору комедии, что ни один из них не будет ходить в театр, если сия драма, в которой обругана их нация, будет представлена в другой раз. Директор не захотел лишиться части своего сбора и отвечал, что она будет выключена из списка пьес, играемых на франкфуртском театре.

*Августа 1*

Отсюда две дороги в Стразбург: через Дармштат, Гейдельберг и Карлсру или через Фальц. И ту и другую мне хвалили; избираю последнюю. Но как мне хотелось видеть Штарка, придворного дармштатского проповедника, то я ныне поутру нанял себе лошадь и поехал в Дармштат верхом. И с этой стороны окрестности франкфуртские очень приятны, но далее к Дармштату (до которого считается от Франкфурта три мили) места уже не так хороши. Дорога инде очень песчана, инде очень выбита – и потому я еще более утвердился в своем намерении ехать через Фальц. Деревни все хорошо выстроены, и везде находил я трактиры под разными, отчасти странными, вывесками. На последней миле к Дармштату начинается

очень хорошая мостовая. Тут открылся мне и город, лежащий близ покрытых лесом гор и представляющий в сем расстоянии очень изрядную картину.

Остановясь в трактире, послал я слугу с письмецом к Штарку, а сам бросился на кресла отдыхать; но через несколько минут позвали меня обедать. В столовой комнате нашел я человек восемь, порядочно одетых. В том числе был один путешествующий француз, для которого надлежало всем говорить по-французски. Молодой человек, приехавший из Стразбурга, подробно рассказывал нам, каким образом за несколько дней пред сим бунтовала тамошняя чернь; но по-французски говорил он так худо, что трудно было от смеха удержаться, – например: ильз-он дешире ла мезон де виль; ильз-он бриле (brule) ле докиман (les documens); иль вуле бандр (prendre) ле магистра (magistrats).[125 - Они разрушили ратушу; они сожгли документы: они хотели повесить служащих магистрата (искажен. фр.). – Ред.] – Тут слуга принес мне печальную весть, что Штарка нет в Дармштате: он уехал к водам в Швальбах. «Господин проповедник был очень болен, – сказал сидевший подле меня человек, – берлинцы зажгли в нем кровь, и наши медики с трудом могли потушить пожар». От всего сердца жалею о Штарке. Дорога человеку добрая слава – и с каким легкомыслием похищаем мы друг у друга сие сокровище! О Шекспир, Шекспир! Кто знал так хорошо сердце человеческое, как ты? Кто убедительнее твоего представил все безумства злословия?

Good name in man and woman, dear my Lord,  
Is the immediate jewel of their souls.  
Who steals my purse, steals trash; 'tis something, nothing;  
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;  
But he, that filches from me my good name,  
Robs me of that, which not enriches him,

And makes me poor indeed.[127 - То есть «Доброе имя есть первая драгоценность души нашей. Кто крадет у меня кошелек – крадет безделку; он был мой, теперь стал его и прежде служил тысяче других людей. Но кто похищает у меня доброе имя, тот сам не обогащается, а меня делает беднейшим человеком в свете».]

Златые Пифагоровы стихи кажутся медными после сих строк, которые всякому человеку, христианину и турку, индейцу и африканцу, надлежало бы вписать незагладимыми буквами в свое сердце.

Я видел в Дармштате так называемый дом экзерциции, в котором может учиться целый полк и в котором хранится множество всякого оружия; гулял в большом придворном саду; ходил по городу, в котором считается не более 300 домов; потом сел на своего коня и отправился назад во Франкфурт.

Два раза был я в здешнем театре, но в оба раза, к неудовольствию моему, играли очень неважные французо-немецкие комедии. Внимание мое занимали более зрители, нежели актеры; а заметил я единственно то, что молодые люди здесь хорошо одеваются и приходят в театр не шуметь, а слушать пиесы или – зевать.

*Маинц, 2 августа*

Ныне в шесть часов вечера приехал я в Маинц в дилижансе, или в почтовой карете, в которой поеду до самого Стразбурга.

Какая гладкая дорога от Франкфурта до Маинца! Какие приятные виды! Какие прекрасные места! Приближаясь к Маинцу, увидел я на левой стороне величественный Рейн и тихий Маин, текущие почти рядом; а на правой – виноградные сады, которых нельзя обнять глазами. Любезные друзья! Как радостно билось мое сердце! «Рейн, Рейн! Наконец вижу тебя, – думал я, – вижу и благословляю царя вод германских в гордом его течении!»

Маинц лежит на западном берегу Рейна, где впадает в него Маин. В городе улицы узки, хороших домов мало, церквей, монастырей и монахов великое множество. – «Угодно ли вам видеть кишки святого Бонифация, которые хранятся в церкви святого Иоанна?» – спросил у меня с важным видом наемный слуга. – «Нет, друг мой! – отвечал я. – Хотя святой Бонифаций был добрый человек и обратил в христианство баварцев, однако ж кишки его не имеют для меня никакой прелести. Поведи меня лучше за город». – Мы вышли с ним за городские ворота. Я сел на берегу Рейна и видел в его водах вечерний луч солнца и картину зеленых берегов.

Возвратясь в трактир, ужинал я за общим столом с путешественниками разных земель. Все пили рейнвейн, как воду. Я потребовал у трактирщика бутылку гохгеймского вина, и притом самого старого, какое только есть у него в погребе. Надобно знать, что гохгеймское считается самым лучшим из всех рейнских вин. «Вы, конечно, поблагодарите меня за этот нектар, – сказал мне услужливый трактирщик, ставя передо мною бутылку, – я получил его в наследство от моего отца, которого уже тридцать лет нет на свете». В самом деле, вино было очень хорошо и равно приятно для вкуса и обоняния. Мысль, что пью рейнвейн на берегу Рейна, веселила меня, как ребенка. Я наливал, пенил, любовался светлостью вина, потчевал сидевших подле меня и был доволен, как царь. Скоро бутылка опорожнилась. Трактирщик уверял меня, что у него есть еще прекрасное костгеймское вино, полученное им также в наследство от отца его, которого уже тридцать лет нет на свете. «Верю, что оно делает честь памяти покойника», – сказал я, встал и пошел в свою комнату.

*Мангейм, 3 августа*

Ныне рано поутру выехал я из Маинца в большой почтовой карете с пятью товарищами и по западному берегу Рейна, через Оппенгейм и Вормс, приехал в Мангейм в семь часов вечера.

Сию верхнюю часть Германии можно назвать земным раем. Дорога гладка, как стол, – везде прекрасные деревни – везде богатые виноградные сады – везде плодами обремененные деревья – груши, яблоки и грецкие орехи растут на дороге (зрелище, в восторг приводящее северного жителя,

привыкшего видеть печальные сосны и потом орошаемые сады, где аргусы с дубинами стоят на карауле!). И между сими-то щедрыми долинами мчится почтенный, винородный Рейн, неся на волнистом хребте благословенные плоды своих берегов, плоды, веселящие сердце людей в странах отдаленных и не столь облагодетельствованных природою!

Но где бедствие не посещает от жен рожденных? Где небо грозными тучами не покрывается? Где слезы горести не лиются? Здесь лиются они, и я видел их – видел тоску поселян несчастных. Рейн и Неккер, наполнившись от дождей, яростно разлили воды свои и затопили сады, поля и самые деревни. Здесь неслась часть домика, где обитали перед тем покой и довольствие, тут бурная волна мчала запас осторожного, но тщетно осторожного поселянина, там плыла бедная блеющая овца. Мы должны были ехать по воде, которая в иных местах вливалась к нам в карету. Но самое сие наводнение возвышало великолепие вида, открывшегося нам при въезде в длинную аллею версты за три до Мангейма – аллею, которая, будучи облита водою, казалась мостом.

В Оппенгейме, курфальцском городе, мы завтракали и пили славное ниренштейнское вино, которое, однако ж, показалось мне не так хорошо, как гохгеймское. – Против Оппенгейма, на другой стороне Рейна, стоит высокая пирамида, а на ней лев, держащий в правой лапе большой меч. Шведский король Густав Адольф поставил сей памятник в 1631 году, перешедши с своею армиею через Рейн, разбив гишпанцев и взяв Оппенгейм.

В Вормсе достойна примечания старинная ратуша, в которой император Карл V со всеми имперскими князьями судил Лютера в 1521 году. И ныне еще показывают там лавку, на которой лопнул стакан с ядом, для него приготовленным. Путешественники отрезают по кусочку от того места, где будто бы стояла сия отравка, и почти насквозь продолбили доску.

Мангейм есть прекрасный город. Улицы совершенно регулярны и перерезывают одна другую прямыми углами, что для глаз – по крайней мере при первом взоре – очень приятно. Ворота Рейнские, Неккерские и Гейдельбергские украшены барельефами, хорошо выработанными. В разных местах города есть площади, окруженные большими домами. Дворец курфирста построен на том месте, где Неккер сливается с Рейном. Если бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм!

*Мангейм, августа 4*

В Академии скульптуры видел я собрание статуй и между ними самые вернейшие копии славных бельведерских антиков. Надобно удивляться древнему искусству, которое умело влагать душу в мрамор, и прекрасную душу. М\*\*\* с восхищением говорил нам о «Лаокооне»; я видел эту группу, один из прекраснейших памятников греческого художества и, по мнению некоторых, произведение Фидиасова резца. Утверждают, что она подала Вергилию мысль к описанию несчастного Лаокоонова конца.[130 - Лаокоон,

брат Анхизов, не хотел допустить, чтобы трояне приняли в город деревянную лошадь, в которой скрывались греческие воины; боги, определившие погибель Трои, наказали его за сие сопротивление.] Смотри на нее, прочитал я несколько раз сие место в бессмертной «Энеиде», которая была у меня в руках:

«Другое, ужаснейшее происшествие вселяет трепет в сердца наши. Лаокоон, избранный по жребию в жрецы Нептуновы, торжественно приносил в жертву тучного быка – и вдруг на поверхности тихих вод, от страны Тенедоса, являются (страшное воспоминание!)... являются два ужасные змия и рядом плывут к берегу; кровавая глава и грудь их гордо возвышается над волнами; неизмеримый хребет их извивается в кругах бесчисленных; плывут, с шумом рассекают пенистую влагу и достигают берега. Пламя и кровь в очах их. Страшно шипят они, страшно зияют – и народ в ужасе спасается бегством. – Сии чудовища спешат к Лаокоону; бросаются сперва на двух юных сынов его и терзают несчастных. Лаокоон стремится с копьём на помощь к ним, отец злополучный! Змии обвиваются вокруг его тела, вокруг шеи и шипят над его головою. Тщетно хочет он освободиться от чудовищ ужасных; руки старца бессильны. Покрытый их нечистым гноем, их ядом смертоносным, Лаокоон стонет – и вопль его до звезд возносится».

С какою живостью изображена физическая боль в лице терзаемого старца! Как сильно изображена в нем и горечь несчастного родителя, который видит погибель детей своих и не может спасти их! – Фидиас был поэт.

*Стразбург, августа 6*

Через обширные зеленые равнины – где роскошная природа в садах и в полях изливает весь тук своего плодородия и в пенящейся чаше подает смертному нектар вдохновения и радости – приехал я из Мангейма в Стразбург вчера в семь часов вечера.

Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения. Все прочие животные, будучи привязаны к некоторым климатам, не могут выйти из пределов, начертанных им натурою, и умирают, где рождаются; но человек, силою могущественной воли своей, шагает из климата в климат – ищет везде наслаждений и находит их – везде бывает любимым гостем природы, повсюду отвергающей для него новые источники удовольствия, везде радуется бытием своим и благословляет свое человечество.

А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой земле все возможные удобства жизни, как будто бы нарочно для меня придуманные; по которой жители всех стран предлагают мне плоды своих

трудов, своей промышленности и призывают меня участвовать в своих забавах, в своих весельях...

Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!

На границе наш постиллион остановился. «Vous etes déjà en France, Messieurs, – сказал нам худо одетый человек, подошедши к нашей карете, – et je vous en felicite».[131 - Вы уже во Франции, господа, с чем вас и поздравляю (фр.). – Ред.] Это был осмотрщик, который за свое поздравление хотел взять с нас по несколько французских копеек.

Везде в Эльзасе приметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы говорят о революции.

А в Стразбурге начинается новый бунт. Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и проч. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата, принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером, за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял: «Mes amis, mes amis!» – «Oui, nous sommes vos amis!»[132 - Друзья мои! Друзья мои! – Да, мы ваши друзья! (фр.) – Ред.] – кричали солдаты. – Пей же с нами!» Крик на улицах продолжается почти непрерывно. Но жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном и смеются, смотря на неистовых. – Я был ныне в театре и, кроме веселости, ничего не заметил в зрителях. Молодые офицеры перебежали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене.

Между тем в самых окрестностях Стразбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом д'Артуа и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа и что до сего времени всякий может делать что хочет. Сей слух заставил здешнего начальника обнародовать, что одна адская злоба, достойная неслыханного наказания, могла распустить такой слух.

Здешняя кафедральная церковь есть величественное готическое здание, и башня ее почитается за самую высочайшую пирамиду в Европе. Вошедши во внутренность сего огромного храма, в котором никогда ясного света не бывает, нельзя не почувствовать благоговения; но кто хочет питать в себе это священное чувство, тот не смотри на барельефы карнизов и колонн, где вы увидите престранные и смешные аллегорические фигуры. Например, ослы, обезьяны и другие звери изображены в монашеской одежде разных орденов; иные с важностью идут в процессии, другие прыгают и проч. На одном барельефе представлен монах с монахиною в самом непристойном положении. – Богатые одежды священников и украшение олтарей

показывают за диковинку. Одно серебряное распятие, подаренное церкви Лудовиком XIV, стоит 60 000 талеров. По круглой лестнице, состоящей из 725 ступеней, всходил я почти на самый верх башни, откуда без некоторого ужаса не мог смотреть вниз. Люди на улицах представлялись ползающими насекомыми, и целый город, казалось, можно было в минуту измерить аршином. Деревни вокруг Стразбурга едва были приметны; миль за десять и более синелись горы. Говорят, что в самую ясную погоду можно видеть и снежные верхи Альпийских гор; но я не видал их, сколько ни напрягал свое зрение. – Часы сей башни, по разнообразным своим движениям, считались некогда чудом механики; но вероятно, что нынешние гордые художники не так думают. – Между колоколами, из которых самый большой весом в 204 центнера, показывали мне так называемый серебряный весом в 48 центнеров, и сказывали, что в него благовестят только в Иванов день. Там же хранится большой охотничий рог, которым, лет за четыреста перед сим, здешние жида хотели подать сигнал неприятелю для взятия Стразбурга. Заговор открылся; многие из жидов были сожжены, многие разорены, а другие выгнаны из города. В память счастливо разрушенного заговора трубят в этот рог всякую ночь два раза. – На стенах колокольни путешественники пишут свои имена, или стихи, или что кому вздумается. Я нашел и русские следующие надписи: «Мы здесь были и устали до смерти». – «Высоко!» – «Здравствуй, брат земляк!» – «Какой же вид!»

В лютеранской церкви св. Томаса видел я мраморный монумент маршала, графа Саксонского, славное произведение резца Пигалева. Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб. На правой стороне два льва и орел, в ужасе и смятении, изображают соединенные армии, побежденные графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развеваются победоносные знамена Франции. – Художник хотел, чтобы удивлялись его искусству; по мнению знатоков, он достиг своей цели. Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры – на ту, на другую, на третью – и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого они сделаны. Смерть, в образе скелета, одетого мантиею, была мне противна. Древние не так изображали ее, – и горе новым художникам, пугающим нас такими представлениями! На лице героя желал бы я видеть другое выражение. Мне хотелось бы, чтобы он имел более внимания к горестной Франции, нежели к грустному скелету. Коротко сказать, Пигаль, по моему чувству, есть искусный художник, но худой поэт. – Под сим монументом, в темном своде, поставлен гроб, в котором лежит бальзамированное тело маршала; сердце заключено в сосуде, стоящем на гробе, а внутренность погребена в земле. Лудовик XV, по своей чувствительности или по чему иному, не хотел исполнить последнего желания маршала умирающего, которое состояло в том, чтобы тело его было сожжено. «Qu'il ne reste rien de moi dans le monde, – сказал он, – que ma

memoire parmi mes amis!»[133 - Пусть ничто не сохранится от меня в мире, лишь бы остаться в памяти моих друзей! (фр.) – Ред.]

Здесь университет так же почти славен, как лейпцигский и геттингенский. Многие немцы и англичане приезжают сюда учиться. Только из стразбургских профессоров очень немногие известны в ученом свете как авторы. Их называют ленивыми в сравнении с другими. Может быть, они богаче других, а в Германии бедность делает многих авторами. —

Наконец, о городе скажу вам, что он многолюден, но что улицы тесны и нельзя похвалить архитектуры домов.

Головной убор женщин здесь весьма странен. Крепко счесанные и насаленные волосы связываются (то есть передние с задними) на середине головы; а наверху пришивается маленькая корона. Ничего не может быть безобразнее такого убора. —

Что принадлежит до здешнего немецкого языка, то он очень испорчен. В лучших обществах говорят всегда по-французски.

Я надеялся здесь найти письмо от А\*, но не нашел. Когда-то от вас, мои любезные, получу письма! Живы ли вы? Здоровы ли вы? Что с вами делается? Спрашиваю, и никакой гений не шепчет мне на ухо ответа. Путешествовать приятно, но расставаться с друзьями больно...

П. П. Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней пред сим был в Базеле для свидания с Неккером. Я познакомился с одним магистром, очень любезным человеком, который водил меня в университет, в анатомический театр, в медицинский сад и который ныне за обедом и за ужином пил здоровье отечественных друзей моих. За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? «Положить руку на эфес, – говорили одни, – и быть в готовности защищать правую сторону». – «Взять абшид», – говорили другие. – «Пить вино и над всем смеяться», – сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку.

*Базель*

«Берегитесь, государи мои! – сказал нам в Стразбурге один офицер, когда я с другими путешественниками садился в дилижанс. – Дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников». Мы посмотрели друг на друга. «У кого не много денег, тот не боится разбойников», – сказал молодой женевец, который приехал со мною из Франкфурта. – «У меня есть кортик и собака», – сказал молодой человек в красном камзоле, севший подле меня. – «Чего бояться!» – сказали все мы; поехали и приехали в Базель благополучно.

Эльзас есть прекрасная земля. Города и деревни, через которые мы проезжали, все хорошо выстроены. На той и на другой стороне дороги плодоносные поля, Лотарингские горы с развалинами рыцарских и разбойничьих замков представляют для глаз нечто романическое и придают

разнообразие виду обширных равнин, утомительных для зрения. Сии горы более и более удаляются и темнеют, так что наконец не можно видеть на них ничего, кроме мрака. С другой стороны, за Рейном, возвышаются черные хребты Шварцвальдских гор и в неизмеримом расстоянии ограничивают горизонт. Близ дороги изредка попадаются в глаза деревья и маленькие рощицы.

Французская почта гораздо скорее немецкой. Постиллион (в синем камзоле с красным воротником и в таких сапогах, которые были бы впору гиганту в водяной болезни) беспрестанно машет хлыстом и понуждает коней своих бежать рысью. На шести, девяти и двенадцати верстах переменяют лошадей, и на каждой станции надобно платить прогоны вперед, нашими деньгами копеек по двадцати за милю (lieue). Из Стразбурга выехали мы в шесть часов поутру, а в восемь часов вечера были уже за три версты от Базеля, то есть переехали в день 29 французских миль, или 87 верст. Тут надлежало нам ночевать, для того что ровно в восемь часов запираются в Базеле ворота, которых уже до утра ни для кого и ни для чего не отворяют.

С молодым человеком в красном камзоле успел я коротко познакомиться. Он сын придворного копенгагенского аптекаря Беккера, учился в Германии медицине и химии (последней – у славного берлинского профессора Клапрота) и прошел большую часть Германии пешком, один, с своею собакою и скортиком на бедре, пересылая через почту чемодан свой из города в город. В Стразбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии, а потом отправится во Францию и в Англию. Со всею нежностью дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мили за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку с своим другом. – Здесь, в Базеле, остановились мы с ним в одном трактире, под вывескою «Аиста».

Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве.

Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травой. Рейн разделяет Базель на две части; и хотя сия река здесь не так широка, как в Майнце, однако ж, по быстрейшему своему течению и по светлости воды своей, показалась мне гораздо приятнее. Только здесь она совершенно пуста; не видно на ней ни одного судна, ни одной лодочки. Не знаю, для чего базельцы не пользуются выгодами судоходства, производя довольно важный торг с немцами и

отправляя в Германию полотна, ленты, шелковые материи и другие произведения своих мануфактур.

В так называемом Минстере, или главной базельской церкви, видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в средних веках. Монументы Эразма и супруги императора Рудольфа I были для меня примечательнее других. Первый считался в свое время ученейшим и остроумнейшим человеком в Европе, в доказательство чего может служить следующий, может быть, уже известный вам, анекдот: Эразм, приехав в Лондон, посетил Томаса Моруса, великого государственного канцлера, и, не сказав ему своего имени, вступил с ним в разговор о политике, религии и других предметах. Морус, будучи восхищен его разумом и красноречием, вскочил наконец с своего места и воскликнул: «Ты Эразм или демон!» – Из сочинений его самое известнейшее есть «Похвала дурачеству», в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Некоторые шутки, конечно, довольно остры, но многие грубы, сухи и натянуты – и вообще книга сия довольно скучна для тех, которые уже читали остроумные сочинения Вольтеров и Виландов осьмого-надесять века. – Минстер стоит на высоком месте, обсаженном деревьями, откуда вид очень хорош.

В публичной библиотеке показывают многие редкие рукописи и древние медали, которых цену знают только антиквари и нумисматографы; а что принадлежит до меня, то я с большим примечанием и удовольствием смотрел там на картины славного Гольбеина, базельского уроженца и друга Эразмова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего жида. Страсти Христовы изображены на восьми картинах. – В ратуше есть целая зала, расписанная аль-фреско Гольбеином. Знатоки говорят о сем живописце, что фигуры его вообще весьма хороши, что тело писал он живо, но одежду очень дурно. – В ограде церкви св. Петра, на стене за решеткою, видел я и славный «Танец мертвых», который, по крайней мере отчасти, считают за Гольбеинову работу. Смерть ведет на тот свет людей всякого состояния: и папу и нимфу радости, и короля и нищего, и доброго и злого. Не будучи знатоком, могу сказать, что, конечно, не одно изображение и не одна кисть произвели сей ряд фигур: столь хороши некоторые и столь дурны прочие! Я заметил три или четыре лица, весьма выразительные и, конечно, достойные левой Гольбеиновой руки.[134 - Гольбеин писал левою рукою.] Впрочем, вся картина испорчена воздухом и сыростию.

Между прочими Гольбеиновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее в виде Лайсы (по чему легко можно догадаться, какого рода была слава ее), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ее колени и держащего в руке стрелу. Сия картина найдена была на олтаре, где народ поклонялся ей под именем богоматери;

и на черных рамах ее написано золотыми буквами: «*Verbum Domini manet in aeternum*» (слово Господне пребывает вовеки).

Кабинет господина Феша есть достойный предмет любопытства всех путешественников, любящих искусство. Его ценят в 150 000 талеров. Конечно, не многие из частных людей в Европе имеют такое собрание прекрасных картин, и, конечно, не многие из богачей имеют такой вкус, как г. Феш. Но сколько завидны драгоценные его картины, столько же, или еще более, завиден для меня и тот прекрасный вид, которым наслаждается сей любимец Фортуны, смотря из окон своего кабинета на величественный Рейн и взором своим следуя за его течением между двумя великими государствами. Тут Франция, Швейцария и Германия представляются глазам в разнообразной картине, под голубым сводом неба – и я мог бы целый день неподвижно простоять в сем магическом кабинете, смотреть и тихо в душе восхищаться, если бы не побоялся быть в тягость господину Фешу. – На дворе перед его домом показывают деревянную и очень топорно выработанную статую императора Рудольфа I. Он представлен сидящим на троне в порфире и со всеми знаками своего достоинства. Его избрали в императоры в самое то время, когда он войсками своими окружил Базель, после чего отворили ему городские ворота – и он жил здесь, сказывают, точно в том доме, в котором живет теперь г. Феш.

Ныне за обедом был я свидетелем трогательного явления. Пожилой человек, кавалер св. Лудовика, сидел на конце стола с пожилою дамою. На лицах их изображалась горесть и бледность изнеможения. Они не брали участия в общем разговоре; взглядывали иногда друг на друга и утирали платком покрасневшие глаза свои. Все смотрели на них с почтительным сожалением и с видом скрываемого любопытства. Молодой женевец, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Это – знатный французский дворянин со своею женою, который по нынешним обстоятельствам должен был бежать из Франции». В то время как подавали нам десерт, вошли в залу молодой человек и молодая дама в дорожном платье: «*Mon pere! Ma mere! Mon fils! Ma fille!*»[136 - Отец! Мать! Сын мой! Моя дочь! (фр.) – Ред.] И при сих восклицаниях кавалер св. Лудовика и сидевшая подле него дама вдруг очутились на середине комнаты в объятиях молодых людей. Глубокое молчание в зале – все мы, сидевшие за столом, казались оцепеневшими: один держал в руке бисквит, другой рюмку и остался неподвижен в сем положении; те, которые говорили и замолчали, не успели затворить рта, устремив взоры свои на обнимающуюся группу. Ты пролетела, минута молчания и тишины! Но глубокие черты оставила ты в моем сердце, которые всегда будут воспоминать мне чувствительность людей – ибо она превратила нас в камень, когда мы увидели отца и мать, сына и дочь, с жаром, с восторгом обнимающих друг друга! – Наконец кавалер св. Лудовика, отирая лиющие слезы свои, оборотился к нам и сказал прерывающимся голосом: «Простите, государи мои, простите радостному исступлению нежных родителей, которые трепетали о жизни милых детей своих,[137 - Слово в слово с французского, но галлицизмы такого рода простительны.] но,

благодаря всевышнего, видят их в целости и прижимают к своему сердцу! Мы лишились своего имения и отечества; но когда жив сын наш, когда жива дочь наша, то забываем все прочее горе!» Потом, держа друг друга за руки, вышли они из зала. Все мы встали, пошли за ними и, нашедши на крыльце слугу их, окружили его и требовали, чтобы он объяснил нам виденную нами сцену. — «Я могу вам сказать единственно то, — отвечал он, — что бунтующие поселяне хотели убить моего господина; что он принужден был искать спасения в бегстве, оставив замок свой в огне и в пламени и не зная об участи детей своих, которые были в гостях у брата его и которые теперь, по его письму, благополучно сюда приехали». —

Если вы в полдень спросите здесь, который час? то вам скажут в ответ: «По общим часам двенадцать, а по базельским час», — то есть здешние часы идут всегда впереди против общих. Напрасно будете вы приступать к базельцам и требовать, чтобы они сказали вам подлинную причину сей странности. Никто ее не знает, но за старое предание рассказывают, что будто бы причиною того был некогда уничтоженный заговор — и таким образом: некоторые зломыслящие люди в Базеле уговорились в двенадцать часов ночи собраться и перерезать в городе всех судей; один из бургомистров узнал о том и велел на колокольне главной церкви ударить час вместо двенадцати; каждый из заговорщиков подумал, что назначенное время уже прошло, и возвратился домой, — после чего все базельцы, в память счастливой бургомистровой выдумки, переставили часы свои часом вперед. По другому преданию, сделалось сие во время Базельского церковного собора, для того чтобы ленивые кардиналы и епископы вставали и собирались ранее. — Как бы то ни было, только базельцы уже привыкли обманывать себя во времени дня, и народ почитает сей обман за драгоценное право своей вольности.

Хотя в Базеле народ не имеет законодательной власти и не может сам избирать начальников, однако ж правление сего кантона можно назвать отчасти демократическим, потому что каждому гражданину открыт путь ко всем достоинствам в республике и люди самого низкого состояния бывают членами большого и малого совета, которые дают законы, объявляют войну, заключают мир, налагают подати и сами избирают членов своих. — Хлебники, сапожники, портные играют часто важнейшие роли в базельской республике.

Во всех жителях видна здесь какая-то важность, похожая на угрюмость, которая для меня не совсем приятна. В лице, в походке и во всех ухватках имеют они много характерного. — В домах граждан и в трактирах соблюдается отменная чистота, которую путешественники называют вообще швейцарскою добродетелию. — Только женщины здесь отменно дурны: по крайней мере я не видал ни одной хорошей, ни одной изрядной. —

В семи верстах от Базеля находится так называемая пустыня, или обширный сад, принадлежащий одному из здешних богачей. Туда ходил я пешком с двумя молодыми берлинцами, здесь живущими. Кажется, будто бы искусство не имело никакого участия в разведении сего сада. Надобно везде ходить по узеньким тропинкам и взбираться на утесы по каменным ступеням.

Инде видишь частый зеленый кустарник – инде глубокие пещеры или разбросанные шалаши. Во глубине дикого грота, где чистая вода, струясь с высоких камней, ископала себе маленький бассейн, стоит монумент покойного Геснера, печальною дружбою сооруженный... Поздно, поздно приехал я в Швейцарию: умолк голос нежного певца ее! В сем тихом гроте, в сем святилище меланхолии душа чувствует томное уныние и погружается наконец в сладкую дремоту. Здесь изобразил бы я Ночь, Сон и Смерть, как они, по описанию Павзаниеву, на Ципселевом сундуке изображены были.[138 - Ночь представлена была в виде молодой женщины, держащей в своих объятиях двух мальчиков, белого и черного; один спал, а другой казался спящим: один означал сон, а другой – смерть.] – Мы сходили в подземный храм Прозерпины и видели образ сей богини, освещаемый слабым светом тихо горящих лампад. Чрезвычайный холод и сырость не позволили нам ни минуты пробывать там. – Мы обедали в местечке Арлейстейме, принадлежащем базельскому епископу, и в семь часов возвратились назад в Базель.

Верстах в двух или в трех отсюда, где построена так называемая гошпиталь св. Якова, было некогда жестокое сражение между французами и швейцарцами, которые почти все легли на месте. Базельские жители всякий год в мае месяце приходят туда воспевать геройские дела своих предков и пить красное вино, называемое швейцарской кровью.

Я имел любопытство видеть тот дом, в котором жил Парацельс. Сказывают, что в саду, принадлежащем к сему дому, и поныне находят еще огарки из химических или алхимических печей сего чудного человека, которому, по признанию ученых, обязана медицина многими минеральными лекарствами, и ныне с великою пользою употребляемыми, но который от страшного хвастовства своего прослыл шарлатаном в целой Европе.[139 - Пишут, что он часто лекции свои начинал так: «Знайте, о медики! что колпак мой учение всех вас и что борода моя опытнее ваших академий! Греки, римляне, французы, италиянцы! я буду вашим царем».] —

Вообразите, что новый мой знакомец Б\*, с которым я уговаривался вместе путешествовать по Швейцарии, умирает – умирает от любви! Здесь в трактире живет молодая дама из Ивердона. Сегодня ужинала она за общим столом, сидела подле Б\* и несколько раз начинала с ним говорить. Нежное сердце моего датчанина растопилось от огненных ее взоров. Он весь покраснел, забыл пить и есть и только что потчевал красавицу; а при конце ужина подал ей записную книжку свою и карандаш, прося, чтобы она написала ему какое-нибудь наставление. Красавица взяла книжку, карандаш – взглянула на него умильно, нежно – и написала по-французски: «Сердце, подобное вашему, не имеет нужды в наставлениях; следуя своим побуждениям, оно следует предписаниям добродетели», – написала и подала ему с улыбкою. «Madame! – сказал восхищенный Б\*. – Madame!..» В самую сию минуту все из-за стола встали, и красавица, присев перед ним, подала руку своему брату и ушла. Б\* стоял, смотрел вслед за нею и наконец сказал

мне, когда я подошел к нему, что он едва ли может завтра ехать со мною в Цюрих, чувствуя себя очень нездоровым.

*Базель, августа 9*

Молодая дама из Ивердона ныне поутру уехала, и датчанин Б\* исцелился от любовной своей болезни. Вместе с ним наняли мы здесь извозчика, или так называемого кучера (Kutscher), который за два луидора с талером повезет нас в Цюрих на паре жирных лошадей, в двухместной старомодной карете; и таким образом за 60 верст платим мы 17 руб. В Швейцарии нет почты. – «Ступайте, господа! – кричит нам почтенный извозчик швейцарский в плисовом фраке. – Ступайте! Чемоданы ваши привязаны». Итак, простите!

*В карете, дорогою*

Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, [140 - Читатель, может быть, вспомнит о стрелах Аполлоновых, которые кротко умерщвляли смертных. Греки в мифах своих предали нам памятники нежного своего чувства. Что может быть, в самом деле, нежнее сего вымысла, приписывающего разрушение наше действию вечно юного Аполлона, в котором древние воображали себе совершенство красоты и стройности?] не возмущаемую свирепыми страстями! – Так, друзья мои! Я думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! Если бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастью, что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту природы человеческой – когда сердце мое отверзается впечатлениям красот природы – чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая благодать не была бы высочайшею благодатию, если бы она с которой-нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей – ис сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! –

Прости мне, мудрое провидение, если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство твоей благодати, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую! —

Мы едем подле Рейна, с ужасным шумом и волнением стремящегося между тихих лугов и садов виноградных. Тут мальчики и маленькие девочки играют, рвут цветы и бросают ими друг в друга; там покойный селянин, насвистывая веселую песню, поправляет в саду своем сошки, увитые гибким виноградным стеблем, — смотрит на проезжих и ласковым мановением желает им доброго дня. — Высокие горы у нас перед глазами; но Альпы скрываются еще в лазури отдаления. Юра изгибает за нами хребет свой, отбрасывающий синюю тень на долины... Нет, я не могу писать; красоты, меня окружающие, отвлекают глаза мои от бумаги.

*Рейнфельден, австрийский городок*

Итак, я теперь во владении нашего союзника! — Кучер наш кормит своих лошадей хлебом, а я сижу в трактире под окном и смотрю на Рейн, которого пена чуть до меня не долетает.

*Брук*

Мы обедали в маленькой швейцарской деревеньке, куда в одно время с нами приехала француженка в печальном платье, с девятилетним сыном и с белкою. Печальное платье, бледное лицо и томность в глазах делали ее привлекательною для меня, а еще более для моего мягкосердечного Б\*. «Я надеюсь, сударыня, что вы позволите нам вместе с вами обедать», — сказал он ей с таким видом и таким голосом, который для датчанина был очень нежен. «Если это не будет вам противно», — отвечала француженка с приятным движением головы. «Господин трактирщик! — закричал мой Б\* повелительным голосом. — Вы, конечно, не заставите нас жаловаться на худой обед?» — «Увидите», — отвечал швейцар с некоторою досадою, поправив на голове своей шапку. — «Швейцары — добрые люди, — сказала француженка с улыбкою, сев за накрытый стол, — только немного грубоваты». Поставили кушанье. Б\* резал, раздавал и всячески старался услуживать даме и сыну ее. Он не мог утерпеть, чтобы не спросить у нее, по ком носит она траур. «По брате, — отвечала француженка со вздохом. — Он писал ко мне из Т\* о своей болезни; я поехала к нему с маленьким своим Пьером и — нашла его лежащего во гробе». Тут обтерла она слезу, которая выкатилась из правого глаза ее, как сказал бы Йорик. — «А в каких годах был ваш братец?» — спросил Б\* и заставил меня от досады повернуться на стуле. — «Старее меня пятью годами», — отвечала она и обтерла другую слезу, блиставшую на нижней реснице левого глаза ее. «Господин Б\*! — сказал я. — Вы оскорбляете чувствительность госпожи NN горестными

воспоминаниями». – «Я этого не думал, – отвечал он, покрасневши, – право, не думал. Простите меня, сударыня!» – «Рана в сердце моем так еще свежа, – сказала она, – что кровь не переставала из нее литься». – Маленький Пьер бросил ложку, посмотрел на мать, встал, подбежал к ней, начал целовать ее руку и между поцелуями взглядывал на нее так умильно и говорил ей так нежно: «Маменька, не плачьте! Не плачьте, любезная маменька!» – что я пошел в карман за белым платком, а Б\* в восторге вскочил со стула, схватил руку ее, которою обнимала она сына своего, и прижал ее к своим губам. В самую сию секунду вошел трактирщик. «Ба! что это? – сказал он грубым голосом. – Я думал, что вы обедаете». Никто не отвечал ему. Госпожа NN высвободила свою руку (на которой осталось розовое пятно) и томным взором наказала чувствительного Б\* за нескромный жар его. «Вели подать нам кофе», – сказал я трактирщику; но он стоял как вкопанный, выпучив глаза на француженку, которой бледные щеки, от внутреннего ее движения, покрылись алым румянцем. Между тем она указала маленькому Пьеру место его. Б\* сел на свое, и мы принялись за десерт. Госпожа NN успокоилась и рассказала нам, что она возвращается теперь к своему мужу, который родом швейцар, но по торговым делам жил долгое время во Франции и, будучи в Т\*, влюбился в нее, сыскал ее любовь, женился на ней и переехал жить в К\*. «Он очень счастлив, сударыня, – сказал я, – имея такую супругу; но он, конечно, достоин своего счастья, потому что вы нашли его достойным любви вашей». – Тут кучер объявил нам, что лошади впряжены. Надобно было расплатиться с трактирщиком и проститься с нежною француженкою. Она позволила нам расцеловать своего Пьера, из чего вышла опять чувствительная сцена, и вот каким образом. В самую ту минуту, как Б\* обнимал маленького Пьера, резвая белка, прыгавшая по столу, вскочила ему на голову и передними своими лапками так ласково ухватила его за нос, что он закричал. Госпожа NN ахнула, а трактирщик, стоявший у дверей, захохотал во все горло. Белку стащили с головы моего приятеля, и маленький Пьер, вертя ее за хвост, кричал: «Ах, белка! Злая белка! На что ты схватила за нос господина Б\*?» Учтивый приятель мой уверял госпожу NN, что ему не приключилось в самом деле никакого вреда, кроме испуга. «Ах, государь мой! – сказала она. – Я вижу кровь, я вижу кровь!» – и белым своим платком обтерла две красные капли на его переносице. «Ах, сударыня! – отвечал Б\*, будучи тронут до глубины сердца. – Как мне благодарить вас за вашу попечительность! Воспоминание о ней будет для меня всегда приятнейшим воспоминанием; и самой вашей белки я никогда не забуду». Госпожа NN подарила ему трубочку английского пластыря, желая, чтобы целительная сила его загладила преступление ее зверька. Тут мы снова простились, получив от нее адрес ее и записав ей наши имена. Маленький Пьер проводил нас до кареты. Милая француженка смотрела из окна, когда мы селись. «Простите, сударыня, простите!» – кричал ей Б\*. – «Простите!» – отвечала она. – «Простите!» – кричал маленький Пьер, кивая головою. – Мы поехали и долго еще говорили о любезной госпоже NN, которая в воображении моего Б\* затемнила образ молодой госпожи из Ивердона. —

Проезжая через одну деревню, увидели мы великое стечение народа, велели кучеру остановиться, вышли из кареты и втерлись в толпу. Тут вязали одного молодого человека, который со слезами просил, чтобы его освободили. «Что такое он сделал?» – спросили мы. – «Он украл, украл два талера в лавке, – отвечали нам вдруг человека четыре, – у нас никогда не бывало воровства; это бродяга, пришедший из Германии; его надобно наказать». – «Однако ж он плачет, – сказал я, – добродушные швейцары! Пустите его!» – «Нет, его надобно наказать, чтобы он перестал красть», – отвечали мне. – «По крайней мере, добродушные швейцары, накажите его так, как отцы наказывают детей своих за их проступки», – сказал я и пошел к своей карете. – Может быть, ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступлений, как в Швейцарии, а особливо воровства, которое считается здесь за великое злодеяние. О разбоях и убийствах совсем не слышно; мир и тишина царствуют в счастливой Гельвеции. —

Спускаясь с высокой горы, которая висит над городом, мог я обнять глазами великое пространство; и все сие пространство усеяно щедротами природы. Здесь мы ночуем, а завтра поутру будем в Цирихе.

### *Цирих*

С отменным удовольствием подъезжал я к Цириху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которые после с диким величием излились в его «Германе»; где Бодмер собирал черты для картин своей «Ноахиды» и питался духом времен патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтали для потомства, где Фридрих Штолберг, сквозь туман двадцати девяти веков, видел в духе своем древнейшего из творцов греческих, певца богов и героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного и песнями своими восхищающего греческое юношество, – видел, внимал и в верном отзыве повторял песни его на языке тевтонов; [141 - То есть немцев. – Штолберг перевел «Илиаду».] где наш Л\* бродил с любовною своею грустию и всякий цветочек со вздохом посвящал веймарской своей богине. —

Мы приехали сюда в десять часов утра. В трактире под вывескою «Ворона» отвели нам большую светлую комнату. Обширное Цирихское озеро разливается у нас перед глазами, и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата, которой шумное и быстрое стремление приятным образом отличается от тихой зыби вод его; прямо против нас, за озером, стоят высокие горы в утес; далее, в сторону, видны Швицкие, Унтервальденские и другие высочайшие и снегом покрытые горы,

составляющие для меня совершенно новое зрелище: и все это могу я видеть вдруг, сидя под окном в своей комнате. – Нам принесли кушанье. После обеда пойду – нужно ли сказывать, к кому?

В 9 часов вечера. Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокий, бледный человек, в котором мне нетрудно было узнать – Лафатера. Он ввел меня в свой кабинет. Услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, Лафатер поцеловался со мною – поздравил меня с приездом в Цюрих – сделал мне два или три вопроса о моем путешествии – и сказал: «Приходите ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела. Или останьтесь в моем кабинете, где можете читать и рассматривать, что вам угодно. Будьте здесь как дома». – Тут он показал мне в своем шкапе несколько фолиантов с надписью: «Физиогномический кабинет» – и ушел. Я постоял, подумал, сел и начал разбирать физиогномические рисунки. Между тем признаюсь вам, друзья мои, что сделанный мне прием оставил во мне не совсем приятные впечатления. Ужели я надеялся, что со мною обойдутся дружелюбнее и, услышав мое имя, окажут более ласкового удивления? Но на чем же основывалась такая надежда? Друзья мои! Не требуйте от меня ответа, или вы приведете меня в краску. Улыбнитесь про себя на счет ветреного, безрассудного самолюбия человеческого и предайте забвению слабость вашего друга. – Лафатер раза три приходил опять в кабинет, запрещал мне вставать со стула, брал книгу или бумагу и опять уходил назад. Наконец вошел он с веселым видом, взял меня за руку и повел – в собрание цюрихских ученых, к профессору Брейтингеру, где рекомендовал меня хозяину и гостям как своего приятеля. Небольшой человек с пронизательным взором, – у которого Лафатер пожал руку сильнее, нежели у других, – обратил на себя мое внимание. Это был Пфенингер, издатель «Христианского магазина» и Лафатеров друг. При первом взгляде показалось мне, что он очень похож на С. И. Г., и хотя, рассматривая лицо его по частям, увидел я, что глаза у него другие, лоб другой и все, все другое, однако ж первое впечатление осталось, и мне никак не можно было разуверить себя в сем сходстве. Наконец я положил, что, хотя и нет между ними сходства в наружной форме частей лица, однако ж оно должно быть во внутренней структуре мускулов!! Вы знаете, друзья мои, что я еще и в Москве любил заниматься рассматриванием лиц человеческих, искать сходства там, где другие его не находили, и проч., и проч., а теперь, будучи обвеян воздухом того города, который можно назвать колыбелью новой физиогномики, метопоскопии, хиромантии, подоскопии, – теперь и вы бойтесь мне на глаза показаться! – Честные швейцары курили табак и пили чай, а Лафатер рассказывал им о свидании своем с Неккером. Послушаем, что он говорит о нем. «Если бы хотел я вообразить совершенного министра, то представил бы себе Неккера. Лицо, голос и движения не изменяют у него сердцу. Вечное спокойствие есть его стихия. Однако ж он не рожден великим так, как Невтон, Вольтер и проч. Великость его есть приобретение; он сделал из себя все возможное». Лафатер видел его в самый тот час, как он решился повиноваться воле короля и

Национального собрания и, посвятив сердечный вздох спокойному пристанищу, ожидавшему его при подошве горы Юры, [20 - Где он теперь провождает тихие дни свои; но может ли единообразная, непрерывная, праздная тишина быть счастьем для того, кто привык уже к деятельной жизни государственного человека? Сия жизнь, при всех своих беспокойствах, имеет в себе нечто весьма приятное, и Неккер, при шуме горных ветров, потрясающих уединенное жилище его, томится в унынии. Размышляя о протекших часах, посвященных им благу французов, он внутренне укоряет сей народ неблагодарностью и взывает с царем Леаром: «Blow, winds, rage, blow! I tax not you, you elements, with unkindness; I called not you my children; I never gave you kingdom!» («Шумите, свирепые ветры, шумите! Я не жалуюсь на свирепость вашу, раздраженные стихии! Вы не дети мои; вам не отдавал я царства».) Читая сие место в новой книге его «Sur l'Administration de M. Nekker, par lui-m?eme» («О правлении г. Неккера, описанном им самим» (фр.). – Ред.), я готов был заплакать. Французы! Вы кричали некогда: «Да здравствует нация, король и Неккер!», а теперь кто из вас думает о Неккере?] возвратиться в бурный Париж. – Я был слушателем в беседе цюрихских ученых и, к великому своему сожалению, не понимал всего, что говорено было, потому что здесь говорят самым нечистым немецким языком. Через час Лафатер взял шляпу, и я пошел с ним вместе. Он проводил меня до трактира и простился со мною до завтрашнего дня.

Вы, конечно, не потребуете от меня, чтобы я в самый первый день личного моего знакомства с Лафатером описал вам душу и сердце его. На сей раз могу сказать единственно то, что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог свободно говорить с ним, первое, потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее, а второе, потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к цюрихскому выговору.

Пришедши в свою комнату, почувствовал я великую грусть и, чтобы не дать ей усилиться в моем сердце, сел писать к вам, любезные, милые друзья мои! Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться.

Какая приятная, тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши – и вот слова песни:

«Отечество мое! Любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Отечество мое! Ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются.

Отечество мое! Любвию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусств, когда природа здесь сияет во всей своей красе – когда мы из грудей ее пием блаженство и восторг?

Отечество мое! Любвию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном».

Голос умолк; тишина ночи царствует в городе. Простите, друзья, мои!

*11 августа, в 10 часов*

Пришедши в одиннадцать часов к Лафатеру, нашел я у него в кабинете жену владетельного графа Штолберга, которая читала про себя какой-то манускрипт, между тем как хозяин (NB: в пестром своем шлафроке) писал письма. Через полчаса комната его наполнилась гостями. Всякий чужестранец, приезжающий в Цирих, считает за должность быть у Лафатера. Сии посещения могли бы иному наскучить, но Лафатер сказал мне, что он любит видеть новых людей и что от всякого приезжего можно чему-нибудь научиться. Он повел нас к своей жене, где пробыли мы с час – поговорили о французской революции и разошлись. После обеда я опять пришел к нему и нашел его опять занятого делом. К тому же всякую четверть часа кто-нибудь входил к нему в кабинет или требовать совета, или просить милостыни. Всякому отвечал он от сердца и давал что мог. Между тем я познакомился с живописцем Липсом, который недавно приехал из Италии и живет у него в доме. К нам пришел еще Пфенингер, с которого Липс начал списывать портрет и с которым мы проговорили до самого вечера; а хозяин ушел от нас в четыре часа и не возвращался.

О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и, кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов, а многие улицы или переулки не будут ни в сажень шириною.

В здешнем арсенале показывают стрелу, которою славный Вильгельм Телль сшиб яблоко с головы своего сына и застрелил императорского губернатора Гейслера, – что было знаком к общему бунту. – В публичной цирихской библиотеке между прочими манускриптами хранятся три латинские письма от шестнадцатилетней Анны Гре к реформатору Буллингеру, писанные собственною ее рукою и наполненные чувствами сердечного благочестия. Разные места, приведенные ею в сих письмах из еврейских и греческих книг, показывают, что она знала и тот и другой язык. Такая ученость в шестнадцатилетней девице могла бы и ныне удивить нас: что же тогда? Несчастливая Гре! Ты была украшением своего времени и

скончала цветущую жизнь столь ужасным образом! Трон был тебе погibelью.

*Августа 12*

Ныне рано поутру прислал за мною Лафатер, чтобы вместе с ним и с некоторыми из друзей его идти обедать к деревенскому священнику Т\*. Это путешествие утомило меня до крайности. Надобно было всходить по камням на высокую и крутую гору. Некоторые из наших спутников для облегчения своего скинули с себя кафтаны и шли в одних камзолах. На вершине горы мы остановились отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами, которые наградили меня за все претерпенное мною. «Удивительно ли, – сказал мне г. Гес, указывая рукою на светлое озеро, на горы и плодоносные долины, – удивительно ли, что швейцары так привязаны к своему отечеству? Смотрите, сколько красот здесь рассеяно!» – На узкой долине между гор, в семи верстах от Цириха, лежит та маленькая деревенька, которая была целию нашего путешествия. Там принял нас добродушный священник со всеми знаками дружелюбия. Вместе с ним вышли к нам навстречу жена его и две дочери, которые всякому живописцу могли бы служить образцом красоты и которые напомнили мне Томсоновы стихи:

As in the hollow breast of Appenine,  
Beneath the shelter of encircling hills,  
A myrtle rises, far from human eye,  
And breathes its balmy fragrance o'er the wild:  
So flourish'd blooming, and unseen by all.

The sweet Lavinia...[145 - Подобно как в лоне гор Апеннинских, под кровом холмов, восходит мирт, удаленный от глаз человеческих, и бальзамическое свое благоухание разливает в пустыне, так цвела в уединении любезная Лавиния.]

Сестры-прелестницы! Я хотел бы счастливою чертою пера изобразить красоту вашу, которую сама натура возлелеяла; хотел бы сравнить бело-румяные щеки ваши с чистым снегом высоких гор, когда восходящее солнце сыплет на него алые розы; хотел бы уподобить улыбку вашу улыбке весенней природы, глаза ваши звездам вечерним – но скромность ваших взоров отнимает у меня смелость хвалить вас. – Никогда еще не видывал я двух женщин, столь между собою сходных, как сии две красавицы. Кажется, что грации образовали их в одно время и по одной модели. Рост одинакий, лица одинакие; у обеих черные глаза и русые волосы, по плечам распущенные; на обеих и белые платья одинакого покроя.[146 - Одной из них нет уже на свете! Горы швейцарские! Вы не защитили ее от безвременной, жестокой смерти!] – «Я привел к вам русского, – сказал Лафатер, – который знаком с вашею родственницею, девицею Т\*». Хозяйка меня расспрашивала, а дочери слушали, наливая чай для гостей своих. Признаюсь, я выпил лишнюю чашку и выпил бы еще десять, если бы красавицы не перестали меня потчевать. –

Между тем я обратил глаза свои на большой шкаф с книгами и нашел тут почти всех лучших древних и новых стихотворцев. «Вы, конечно, любите поэзию?» – спросил я у хозяина. – «Родясь в романической земле, – отвечал он, – как не любить поэзии?» Между тем мы отдохнули и пошли гулять по саду. Со всех сторон представлялись нам дикие виды гор, полагавших тесные пределы нашему зрению. – Если мне когда-нибудь наскучит свет; если сердце мое когда-нибудь умрет всем радостям общежития; если уже не будет для него ни одного сочувствующего сердца, то я удалюсь в эту пустыню, которую сама натура оградила высокими стенами, неприступными для пороков, – и где все, все забыть можно, все, кроме бога и природы. – Возвратясь в комнату, нашли мы на столе кушанье. Обед был самый изобильный; говорили, шутили, смеялись. Лафатер, сидевший рядом со мною, сказал, потрепав меня по плечу: «Думал ли я дни за три перед этим, что буду ныне обедать с моим московским приятелем?» После обеда началась игра – однако ж не карточная, друзья мои! Все сели вокруг стола; всякий взял листочек бумаги и написал вопрос, какой ему на ум пришел. Потом бумажки смешали и раздали. Всякий должен был отвечать на тот вопрос, который ему достался, и написать новый. Таким образом продолжались вопросы и ответы, пока на листочках не осталось белого места. Тут прочли вслух все написанное. Некоторые ответы были довольно остроумны, а Лафатеровы отличались от других, как луна от звезд. Сестры-прелестницы отвечали всегда просто и хорошо. Вот вам нечто для примера. Вопрос: «Кто есть истинный благодетель?» Ответ: «Тот, кто помогает ближнему в настоящей его нужде». Сей ответ, при всей своей простоте, заключает в себе разительную истину. Давай всякому то, в чем он на сей раз имеет нужду; не читай нравочений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба; не бросай рубля тому, кто утопает, а вытащи его из воды. – Вопрос: «Нужна ли жизнь такого-то человека для совершения такого-то дела?» Ответ: «Нужна, если он жив останется; не нужна, если он умрет». – Вопрос: «Что всего лучше в том месте, где мы теперь?» Ответ: «Люди». Потом из нескольких заданных слов, между которыми не было никакой связи, надлежало всякому сочинить что-нибудь связное. Тут выходило все смешное. – Желал бы я, чтобы мы переняли у немцев сии острящие разум игры, которые могут быть столь забавны в приятельских обществах.[147 - Желание автора исполнилось: некоторые из наших дам полюбили играть в вопросы и ответы.]